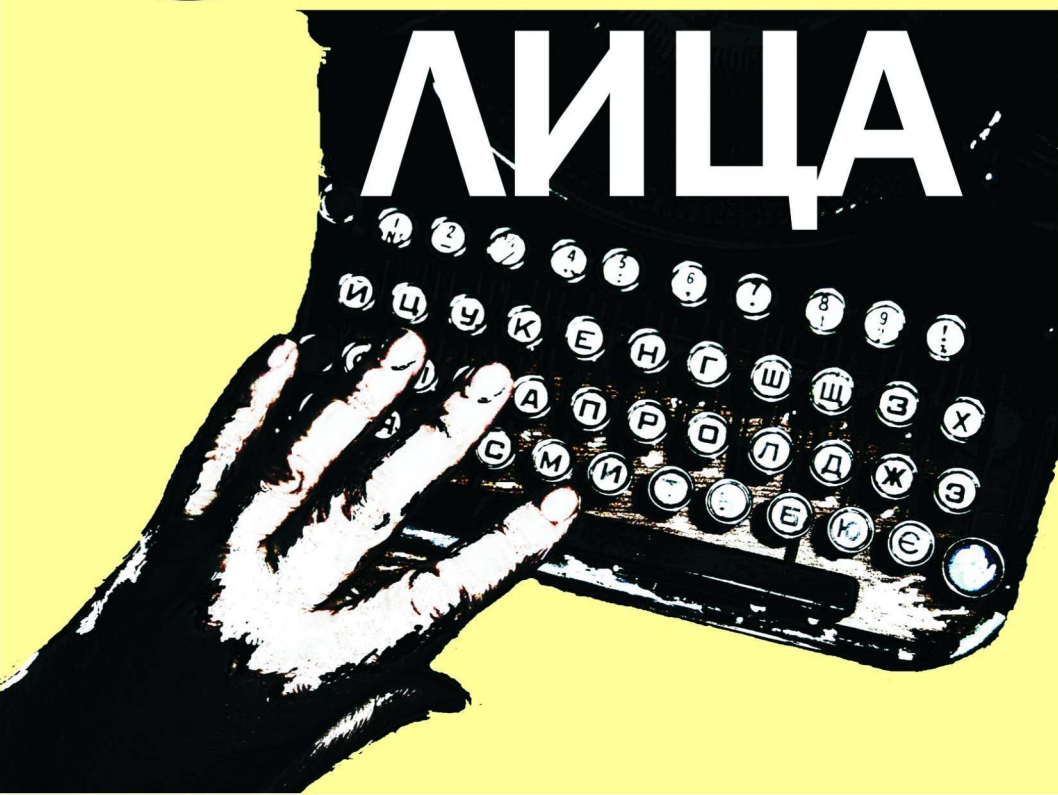


Зиновий
Сагалов

ДЕЙСТВУЮЩИЕ

ЛИЦА



Зиновий Сагалов

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

*В*споминания

*О*черки

*Р*ассказы

Augsburg, 2012

Сагалов З.В.

Действующие лица. Воспоминания. Очерки. Рассказы. Аугсбург, 2012

Зиновий Сагалов – драматург, член Национального Союза писателей и Союза театральных деятелей Украины, Международной федерации русских писателей. Автор более 20 пьес, поставленных и идущих в театрах Украины, России и дальнего зарубежья (Израиль, Германия, США), романа «Шуба для палача», повестей, рассказов и стиховую

Предлагаемая книга – не мемуары, а неприхотливая мозаика воспоминаний о себе и о тех, кого автор по праву мог бы назвать действующими лицами пьесы по имени «жизнь».

Автор благодарит д-ра мед. Г. Фингера (Аугсбург)

за содействие изданию этой книги.

Author bedankt Hr. Doktor G. Finger (Augsburg)

für die freundlichen finanziellen Unterstützung für diese Ausgabe.

© Сагалов З. В. (текст)

© Тафель З. М. (дизайн обложки)

ISBN 978-1-4710-6098-4



Рите - жене, другу

Театральный роман



СТАТЬ ТЕАТРОМ

В шесть лет легко и просто стать Театром. И режиссером, и актером, и драматургом, и даже билетером – в одном лице.

Вбей в противоположные стены комнаты по гвоздю, повесь на веревке одеяло или коврик, рассади на стульях и табуретках пять-шесть ребятишек из своей же коммуналки – и все, можно начинать.

На левой руке Негритенок, на правой – Баба с лукошком. Больше кукол нет, да и эти изрядно потрепаны. Но самое главное – нет сказки про этих двоих. Что же между ними произойдет, о чем им говорить? Эх, была не была, придумаем по ходу дела! Третий звонок, поехали!

К двенадцати годам не все уже так просто, как раньше. Впервые, нет коммуналки, где был Театр – немецкая фугаска угодила прямехонько в Театр... И Баба с лукошком, и Негритенок



Лет пять с «хвостиком»

сгорели, конечно, ярким пламенем. Во-вторых, здесь, за тысячу километров от руин дома родного, в убогом сельском клубе, при свете керосиновых «молний», ты уже не режиссер и не директор, и даже не билетер, а всего-навсего скромный исполнитель крохотной рольки. Под белым халатом подвязана подушка, чтобы казаться потолще и посмешнее, а в голове коротенький рифмованный текст – роль Буфетчика из гусевской пьесы «Твоя песня»

Но тяжелее всего в семнадцать.

– Театр! Театр! Театр! – надрывно вопит юноша, в котором я узнаю себя, размахивая аттестатом зрелости.

– Нет! Нет! Нет! – дружно твердят Родители.

Дуэт подавляет солиста своей мощью, и любовь к Театру уходит в подполье. В университетские аудитории, где учат словесности и журналистике. В редакционные комнаты, где надо гнать из себя строчки про заготовку силоса и вывоз удобрений на колхозные поля. В кабинет НИИ, уставленный массивными шкапами и каталожными ящиками со строгой табличкой на дверях: «ПАТЕНТНЫЙ ОТДЕЛ».

Но в этом подполье – удивительное дело! – нежное чувство к Театру не только не увядает, не тускнеет, а наоборот, становится Самым Главным Делом Жизни.

Но это Главное Дело можно делать только за счет сна, по выходным или в командировках по основной работе. И подлинный кайф, когда болеешь, и милый доктор, внимательно выслушав тебя, словно заглянув в твое нутро, строго произносит: «Даю вам больничный еще на три дня. Если станет хуже, повторите вызов».



*О моя дорогая советская медицина! Как я тебя любил!
Сколько вдохновенных часов ты щедро подарила мне!
Ты была моим меценатом, моим заботливым спонсором,
моим благодетелем и благотворителем! Я тебя
никогда не забуду!*

В городе шесть театров. Они как средневековые замки. Окружены невидимыми крепостными стенами. И каждый имеет два входа – парадный с ярко освещенным вестибюлем и убогий, обшарпанный, называемый служебным.

Как легко и просто пройти через парадный, помахивая билетиком, купленным в театральной кассе. С этой невзрачной бумажечкой все идет как по волшебству: тебе будут улыбаться, разденут и оденут, предложат программку, бинокль и даже бутерброд с колбасой в антракте.

Иное дело – служебный вход. Он для тех, кто служит в Театре. Шоферу – пожалуйста, заходите, истопнику или электрику – милости просим, не говоря уже о «посвященных» – актерах, гримерах, осветителях. Тебе же, простому смертному, могут понадобится годы, чтобы бдительный вахтер не встал на твоём пути в святая святых: «А вы куда, молодой человек? Подождите, я сейчас позвоню...».

И все же в один поистине прекрасный день скрипучая дверь служебного входа отворается с милым мелодичным звоном. Нет, это еще не встречный марш, никакой ты еще не драматург и никто еще не думает заказать тебе пьесу для Театра (о чем ты тайно мечтаешь). Просто режиссеру Харьковского театра им. Пушкина Семену Лерману потребовалась пара песенок для спектакля «Карьера Артуро Уи», и ты их случайно сочинил, и их уже поют актеры, и всем это вроде бы нравится.

И происходит чудо! В амбразурах и бойницах высоких крепостных стен, окружающих театры, появляются приветливые, улыбающиеся лица. Черт побери, да какие же они все милые и обаятельные, а я-то считал их заносчивыми гордецами. Приглашают, заказывают, торопят ... И всем нужны песни, зонги, баллады. Идея греческого хора, преломленная через брехтианство, наподобие повальной вирусной эпидемии (или куриному гриппу, как сказали бы мы сегодня), существует по театрам шестидесятых годов. Разрушена четвер-

тая стена, отделявшая актера от зрителя, актеры прямо в зал бросают гремучие, раскованные Временем слова:

**Вы пришли сюда не отдыхать –
Спорить, верить, мыслить и мечтать!
Сердцем беспокойным и тревожным
Истину и Правду открывать!**

**Шире, шире, шире стены театра!
Мир здесь открывается свободно.
Вы в него, друзья, войдете завтра –
Думайте, думайте, думайте
Сегодня!**

Никто – ни обком, ни Обллит не спрашивают, какую «истину» и какую «правду» призывает открыть автор. Еще длится блаженная «оттепель», и мы совсем «оборзели».

Школьникам с комсомольскими значками адресованы слова моих зонгов.

Они звучат в спектакле Харьковского ТЮЗа «Они и мы» по пьесе Н. Долининой. А дальше... Поистине, «рука Всевышнего три чуда совершила»!

Головокружительный успех и поздравления на премьерном спектакле. Самарий Зеликин острит: «Пьеса Долининой – прокладка между зонгами Сагалова». Это раз. Хаит, главный режиссер театра юного зрителя, приглашает меня в Театр заведующим литературной частью. Это второе чудо. А третье – просто уж совсем немыслимое: получаю задание писать пьесу. Она будет называться «Последние письма».

Знал ли я тогда, что ни одно из моих сочинений не пройдет так по моей судьбе, как эти «Письма»?

ОН ОСТАВИЛ НАМ СВОЮ МУЗЫКУ

Долгие годы мы жили рядом, в одинаковых павловопольских «хрущобах», чуть ли не окнами напротив. Частенько



Марк Карминский

встречались, подолгу вели глубокомысленные трепы, совершали традиционные прогулки с бидончиками на источник.

Из встреч, из общений как-то исподволь родилось совместное творчество.

Зная, что в студенческие годы я пописывал стихи,

Марк предложил мне однажды написать тексты «зонгов» к спектаклю «Карьера Артуро Уи» Б. Брехта. Поэт, с которым он обычно сотрудничал, его подвел, куда-то неожиданно укатил, так и не написав обещанных стихов. А режиссер Семен Лерман и слышать ничего не хочет: все сроки просрочены, вот-вот должны начаться прогоны, а музыки нет.

Бертольт Брехт, кумир «шестидесятников», великий поэт и драматург, как известно, сам писал «зонги» к своим пьесам. А вот «Карьеру...» почему-то оставил без них.

Но это же верх нахальства – писать стихи за «самого». Да еще тому, кто ни разу до того не пробовал себя в этом песенном жанре.

– Не робей, получится, – сказал Марик. И стал увлеченно рассказывать о пьесе, о своем замысле, об эпизодах, где должны прозвучать «зонги».

Утром, не застав его дома, я вбросил в почтовый ящик написанные за ночь стихи. Телефонов тогда в нашем микрорайоне еще не было, пару дней мы не виделись. На третий день, проходя мимо дома Марка, увидел его на балконе.

– Ну что, – крикнул ему, – получил?

– Чувак, весь театр уже поет, – чуть небрежно, как о само собой разумеющемся, сказал он. – Заходи, поиграю.

Через минуту, с радостно колотящимся сердцем, я был у него.

Игре предшествовал обычный предварительный ритуал. Плотнo закрывались двери и окна, даже форточка. На диване, в стороне, сидеть не разрешалось. Он усаживал гостя возле инструмента, перед собой, чтобы только «глаза в глаза».

Долго, тщательно разминает пальцы, брови сосредоточенно сдвинуты, весь он как-то преобразился – уже где-то там, в другом измерении, в спектакле, среди фашиствующих молодчиков, горланящих охрипшими голосами свою бандитскую, сочиненную нами песню.

И тогда, и каждый раз после этого я не переставал удивляться, как выразительно, с каким глубоким внутренним чувством он пел свои песни. Пожалуй, никому из исполнителей не удавалось достичь такого эмоционального воздействия, как ему. В небольшой комнате, находясь в полуметре от меня, он пел полным голосом, будто для переполненного огромного зала.

С той поры мы написали с Марком немало песен к спектаклям харьковских театров. То был песенный (дооперный) период его творчества. Неповторимая, овеянная романтическим порывом музыка Карминского звучала со сцен кукольного и ТЮЗа, пушкинского и шевченковского театров. Многие из них сразу же обретали самостоятельную жизнь, «выходили» из спектакля, исполнялись на радио, по телевидению, эстрадными коллективами.

– Скажи, как рождается песня, – спрашивал я его. Мне, по неведению, раньше казалось, что композитор долго обдумывает текст, делает какие-то музыкальные наброски, аналогично черновикам поэта.

Марк, улыбнувшись, развеял мои предположения.

– Читаю текст и тут же, как бы сама по себе, возникает мелодия. Мгновенно, как озарение. Если, конечно, стихи нравятся.

Качеству стихов он уделял первостепенное внимание. Остро заточенным карандашиком отмечал все недостатки текста. Чутье и вкус его были безупречны. Малейшую фальшь, нелогичность, а то и просто банальность он тотчас же «ловил» и стоял на своем, убеждая в необходимости переделки. Пока единственное точное слово не находилось, «выкручивание рук» поэта продолжалось. Ни на какие компромиссы он не соглашался.

Таким же непримиримым он был и к себе, и к исполнителям. Ходил на все репетиции, тратя на это безумное количество времени. Однажды я сказал ему об этом:

– Ты написал музыку, пусть сами разбираются: в нотах все указано.

– Ты что? – Он удивленно посмотрел на меня поверх очков. – Пока я не услышу каждую нотку так, как я ее написал и как я ее слышу, я не успокоюсь.

И он продолжал ходить на репетиции. И на свои, музыкальные, и на общие, где, сидя рядом с режиссером в темноте зрительного зала, частенько «подбрасывал» ему свои отнюдь не композиторские предложения. Он получал истинное удовольствие от соучастия в этом творческом процессе. От актерских импровизаций, от режиссерских «показов», от возникающих буквально на глазах поисков и находок. Все это будоражило его мысль, «провоцировало», как он сам говорил, на собственные поиски и эксперименты.

Марк Карминский был поистине театральным человеком. И не только потому, что любил и понимал театр. Не только потому, что среди его самых близких друзей были и актеры, и режиссеры. Нет, в своем творчестве, будь то опера

или коротенькая песня, он был и драматургом, и режиссером. Демиургом, в самом высоком смысле этих слов.

Каждая песня, говорил он, это маленькая пьеса, это спектакль, исполняемый со сцены. Нужно выстроить его драматургию – завязку, кульминацию, финал. Действие не должно топтаться на месте. Напряженность – внутренняя, образная или событийная – должна нарастать.

Особое внимание он уделял афористичности текста.

– Запоминаются в первую очередь только «формулы», – говорил он не раз. Именно они и делают песню песней.

Когда я переводил для него с украинского стихи Игоря Муратова, на которые он написал цикл пионерских песен, Марк обращал мое внимание на удачные поэтические строки, следя, чтобы они не потерялись, не поблекли в переводе.

– Обрати внимание, как Игорь в простеньком и неприятательном тексте выходит на «формулу». А какая сложная, неожиданная ритмика, какие великолепные сбои! Это тебе не классические ямбы и хорей, изъезженные вдоль и поперек. Это уже интересно, так как потребуете найти неожиданный музыкальный ключ.

В другой раз, вчитываясь в мой текст, приходил в ужас:

– Ну что ты написал, старик? Попробуй-ка спой – язык сломаешь: четыре согласных подряд! Абракадабра какая-то!

Зоркости его глаза, тонкости его слуха я не переставлял удивляться. И хоть часто мы с ним спорили, авторитет его был всегда для меня высок. И не только в творческих, но и в обычных повседневных делах.

Прежде чем высказать свое суждение Марк досконально выспрашивал меня, вникая во все детали и нюансы проблемы. Строго последовательно, логично, шаг за шагом он распутывал клубок какой-нибудь житейской ситуации. Несмотря на эмоционально-интуитивное восприятие окружающего, свойственное ему как большинству художников,

Марк обладал еще аналитическим умом математика (недаром он был призером многих школьных олимпиад) и логическим аппаратом незаурядного шахматиста.

Обширности его познаний в любой области нельзя было не удивляться. Он знал фамилии президентов и премьеров, наверное, всех стран мира, мог дать характеристику каждому из игроков сборной Бразилии по футболу, часами рассказывал о полотнах Шагала или фильмах Антониони.

– Ты читал пятую книжку «Нового мира»? – звонил он мне поздно вечером – взволнованно, будто речь шла о пожаре. – Еще нет? Пошляк, о чем с тобой можно говорить? Пока!

И в трубке раздавались короткие презрительные гудки. Это был сигнал о чем-то очень важном, что нельзя было доверять в то время телефону. Нужно было срочно мчаться в библиотеку, после чего обычно следовала встреча и обсуждение публикации. И наложенная анафема снималась.

...Можно до бесконечности рассказывать о Марке Карминском, ибо его духовный мир неисчерпаем. Он не унес его с собой. Не растаял в звездной пустоте. Он навсегда остался с нами – своей музыкой.

ЭРНСТ БУШ И ЕГО ХАРЬКОВСКИЙ «ДВОЙНИК»

Апрель сорок пятого уже дышал пьянящим воздухом Победы. Ожесточенные схватки с гитлеровцами шли на ближних подступах к Берлину. Человечество, начинавшее свой день с военных сводок, с нетерпением ожидало, когда же отгремит последний залп этой самой кровавой и жестокой из войн.

Ждали этого часа и те, кто томился в фашистских кон-

цлагерях. Открывались тяжелые ворота Заксенхаузена, Равенсбрюка, Бухенвальда. 27 апреля 1945 года получили долгожданную свободу заключенные Бранденбургской каторжной тюрьмы, это был один из самых страшных застенков 3 рейха.

«В один прекрасный день дверь нашей камеры широко распахнулась, – вспоминал впоследствии один из смертников. – На пороге стоял рослый солдат с автоматом на груди и с красной звездой на ушанке... Это пришло освобождение».



Эрнст Буш

Этим узником, над которым уже витала смерть, был известный певец-антифашист Эрнст Буш. Глубокий шрам на лице и перебитый лицевой нерв неузнаваемо изменили облик артиста. Это был «подарок» с «летающей крепости» – американская бомба угодила как раз в то крыло тюрьмы, где находилась одиночка Буша. В руинах, оставшихся после бомбежки, было найдено его тело – казалось, без всяких признаков жизни.

Рабочие «зондер-команды» бросили его на пол мертвецкой вместе с трупами других заключенных, погибших во время ночного налета. К счастью, один из «зондеров» услышал слабые стоны. Сердце певца еще билось...

Десять дней Буш лежал без сознания в лазарете Бранденбургской тюрьмы. И первыми, кого он увидел, открыв глаза, был тюремный врач и какой-то гестаповский чин. «Теперь эта кривая морда уже не выйдет на сцену» – услышал он слова гестаповца.

К великому счастью, тот ошибся. В освобожденном Берлине советским хирургам удалось провести несколько тонких пластических операций (это в те-то годы и в условиях почти полевых!) и вернуть Бушу прежние черты. Уже в ноябре сорок пятого, встреченный громом аплодисментов, он вышел на сцену драматического театра, а 30 мая 1946 года впервые после войны снова запел. В переполненном зале, среди зрителей, находился военный корреспондент «Красной звезды» Константин Симонов. Впоследствии, вспоминая этот незабываемый вечер, он писал:

«Впервые после войны я видел и слышал Эрнста Буша. Он еще не вполне оправился после ранения и производил впечатление больного и истощенного человека. Но в нем жила огромная сила и огромная страсть. А для меня этот человек... был прообразом новой Германии. Он был немцем, которого я люблю, он был символом той Германии, которую я люблю. Поэтому я посвятил одно из первых стихотворений, написанных мною после войны, немцу Эрнсту Бушу:

**Пять раз друзьями похороненный,
Пять раз гестапо провороненный,
То гримированный, то в тюрьмах ломанный,
То вновь иголкой в стог оброненный,
Воскресший ,бледный, как видение,
Стоял он, шрамом изуродованный ,
Как документ Сопrotивления...**

Вскоре вместе с прославленным брехтовским театром «Берлинер Ансамбль» он приезжает в Советский Союз. Спектакли « Жизнь Галилея», «Кавказский меловой круг», «Мамаша Кураж и ее дети», в которых Буш исполняет ведущие роли, шли под нескончаемые овации.

Выступая в концертных программах, он пел свои известные всему миру «шлягеры»: «Красный Веддинг», «Песню единого фронта», «Болотные солдаты», а также песни со-

ветских композиторов – «Священная война», «Жди меня» (кстати, на симоновские стихи), «Песню о встречном».

К сожалению, в том городе, где я жил, в Харькове, певец ни разу не выступал. Нам довелось слышать его великолепный неповторимый голос лишь по радио. Но – парадокс! – именно на харьковском телевидении возникла в начале шестидесятых годов идея – создать телевизионный спектакль об Эрнсте Буше. Но уже беглое знакомство с его жизненной одиссеей, казалось, делало невозможным осуществление нашего замысла. Судьба этого политического шансонье, калейдоскоп событий, городов и стран, куда забрасывала его судьба, никак не могли уместиться в рамках обычного полтора часового спектакля.

И вот, с благословения телевизионного начальства, студия отважилась на рискованный эксперимент – показать этот спектакль в трех частях (сериях) в течение одной недели. Представляю себе снисходительную усмешку современного зрителя, привыкшего, скажем, к бесконечным сериалам типа «Клона» или «Санта – Барбары». Но ведь это было сорок лет тому назад, когда в природе еще, по-моему, не существовало видеомагнитофонов, и передача сразу же шла в эфир.

У истоков замысла и в процессе его воплощения стояли работавшие в ту пору на Харьковской студии телевидения режиссер Иван Даниленко, художник Георгий Камышанский, главный оператор Вадим Евсеев, ст. редактор Ольга Бойко. Писал сценарий автор этих строк.

Самой важной из стоявших перед постановщиками задач был, конечно, выбор актера на роль Буша. После долгих размышлений и проб Даниленко остановился на артисте Театра им. Пушкина Болеславе Березовском. Зрители знали его по ярким театральным работам: Алексей в «Оптимистической трагедии», Разметнов в «Поднятой целине», Ведерников в «Годах странствий». Обаяние и искренность сочетались в



**Болеслав Березовский и Людмила Попова
в сериале ХСТ «Красный соловей»**

нем с внутренней силой и энергетикой.

Выпускник киевского театрального института, отмеченный за успехи в учебе стипендией имени Немировича – Данченко, Болеслав отлично владел техникой актерского мастерства, способностью к органичному перевоплощению. Была и еще одна немаловажная грань в таланте артиста, так необходимая для создания образа певца : Болеслав Евгеньевич был не только исключительно музыкален, но и сам, как оказалось, сочинял песни и великолепно исполнял их под гитару. С самого начала перед режиссером встал нелегкий вопрос: чей голос услышит зритель – самого Буша или артиста, исполняющего его роль? «У нас не музыкальный лекторий – сказал Даниленко. – Мы создаем художественный образ певца. Должен петь тот, кого мы видим в кадре и – на русском языке».

Из фондов Всесоюзного радио были выписаны записи

песен Буша. Удалось разыскать ноты и переводы песен на русский язык. И вот, на одной из репетиций, Березовский – Буш запел. Мужественно, резко, акцентируя наиболее важные места текста:

**Нам лопаты давят плечи,
Нас гнетет безмерный труд.
Здесь и птицы не щебечут,
Здесь и травы не цветут!
Болотные солдаты,
Идем среди проклятых
Болот...**

Это была знаменитая «Песня болотных солдат», сложенная узниками фашистского концлагеря «Бергемоор» под Ганновером. Песня, облетевшая благодаря Бушу весь мир.

Первая на украинских студиях «трехсерийка» прошла успешно. На дружеском «чаепитии» по поводу окончания работы Болеслав пел свои, уже не бушевские песни – о любви, о фронтовых друзьях. Голос его уже тоже был другим – мягким, лиричным, задушевым – он уже вышел из образа своего героя.

– А знаете, ребята, – сказал неожиданно артист, перебирая струны гитары, – теоретически я бы мог встретиться с Бушем на берлинских улицах в мае сорок пятого. Ведь после освобождения он с советскими войсками попадает в Берлин. А наша часть, после ожесточенных боев, была расквартирована в германской столице. Вот так...

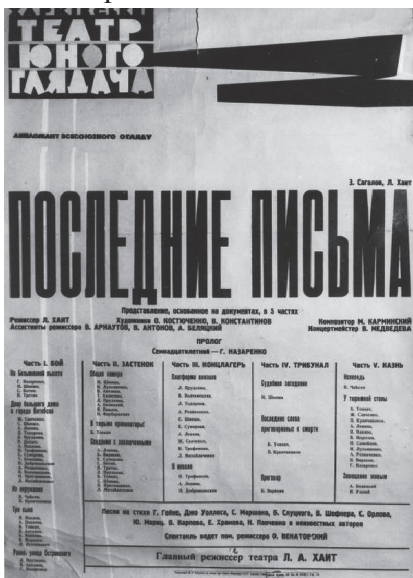
Скромный человек, он ни разу за все время работы не обмолвился о том, что рядовым солдатом прошел всю войну до самого Берлина. А после войны участвовал в историческом Параде Победы. И одна из его песен, которые мы тогда слышали, была посвящена этому незабываемому дню.

Не помню, кому пришла в голову мысль послать альбом

фотографий из нашего спектакля самому Э.Бушу. Адреса его мы не знали, написали по примеру Ваньки Жукова : «Берлин. Эрнсту Бушу». Каково же было наше удивление, когда через месяц-полтора на студию пришел объемистый пакет. В нем, к нашей радости, оказалась книжечка о певце с его дарственной надписью: «Mit herzliche Dank und freundliche Grüße .Ernst Busch.März 1965“, а также несколько долгоиграющих грампластинок с его песнями. Уезжая на ПМЖ в Германию, я передал все это в фонд Харьковской музыкально-театральной библиотеки им. Станиславского.

«ДАТСКАЯ» ПРЕМЬЕРА В ДЕНЬ СМЕРТИ ВОЖДА

В приснопамятные советские времена существовала



Афиша спектакля «Последние письма» Харьковский ТЮЗ. 1968.

многозарядная обойма так называемых «датских» пьес – написанных и ставящихся к знаменательным датам. Чиновники от культуры пристально следили за репертуарными планами, требуя, чтобы театр непременно откликнулся на те или иные события в жизни страны.

Леониду Абрамовичу Хайту, руководившему Харьковским ТЮЗом в 1963-68 годах, всеми правдами и неправдами приходилось отбиваться от навязываемых ему драматургических скороспелок «на актуальные

темы». В ход пускались различные хитроумные аргументы: то «нет актера на главную роль», то «обязательно поставим, но в следующем сезоне» и т.д. У Хаита, профессионального юриста по своему первому, дотеатральному образованию, был целый арсенал таких «отмазок». И отбивался он, надо отдать должное, весьма успешно.



Леонид Хаит и его жена актриса Ася Левина

Не преувеличивая, можно сказать, что в те годы Харьковский театр юного зрителя был одним из самых авангардных на Украине. Уверен, что многие харьковчане до сих пор помнят «Двадцать лет спустя» М. Светлова, «Они и мы» Н. Долининой, «Судебную хронику» Я. Волчека. А в дни, когда шла «Божественная комедия» И. Штока, перед театром стояла толпа жаждущих «стрельнуть» лишний билетик.

После успешной и шумной премьеры «Они и мы», чему немало способствовали написанные мной и композитором

М. Карминским «зонги», Хаит предложил мне руководить литературной частью театра.

Мы сидели у меня на кухне, неспеша расправляясь с поллитровкой и обсуждая дальнейший ход событий. Я был весь в сомнениях – в институте огнеупоров у меня была довольно приличная зарплата и стабильность, коей, по определению, не могло быть в театре.



(Мои предположения, к сожалению, подтвердились – через три года Хаита вынудили подать заявление об уходе, пришел новый главный и начались, естественно, другие игры).

Но сейчас, заедая очередную, лихо выпитую рюмку своей любимой редиской, Хаит не хотел слушать моих возражений.

– Люсик, пойми, я ведь не театровед и не хочу братья не за свое дело.

– А мне диплом об окончании театрального института не нужен. Общая интеллигентность – вот все, что от тебя требуется. И конечно, позиция. Эту ставку я выбил в Министерстве только под тебя.

К концу застолья было найдено соломоново решение: я буду служить в театре по совместительству, на полставки, не бросая основной работы. Пока, на первых порах. А потом посмотрим...

Приближалась годовщина Победы. Пропустить эту дату мы, дети войны, не могли. Но в ходу были только ура-патриотические пьесы. «Надо думать» – сказал Хаит. Ему хотелось, чтобы театр отличался «лица необщим выраженьем». Как-то на глаза мне попала незадолго перед тем изданная книга «Говорят погибшие герои». В ней были собраны предсмертные письма солдат, партизан, военнопленных. Непридуманные, простые и безыскусные строки. Написан-

ные на клочках бумаги, на носовых платках, а то и просто на стенках тюремных камер.



Хаит ждал от меня новых репертуарных предложений

Могут ли эти люди, никогда не видевшие друг друга, погибшие в разное время и в разных местах, стать героями одного спектакля? Роясь в библиотеке, я нашел еще немало других материалов – писем и дневников французских маки, немецких антифашистов, узников Освенцима и Терезина. Вырастало огромное полифоническое представление, нарушавшее сразу три классических единства – места, времени и действия. Но уж очень цеплял за душу этот уникальный человеческий материал. Сквозь скупые бесхитростные строки мы видели лица тех, кто пал жертвой обеих тоталитарных систем – гитлеровской и сталинской. В те годы мы еще не могли открыто говорить о репрессиях в своей стране. Но ведь существует, думали мы, ассоциативное восприятие, и те, кто придет в зрительный зал, поймут, должны понять наш эзопов язык.

**Наверное, я был маленький, когда забирали отца.
А может, меня не было, когда забирали отца.
А может, забирали не отца, а соседа нашего.
Но это было, было.
И я все помню об этом...**

Эти слова Современного парня, как мы назвали этот персонаж из нашего времени (артист Г. Назаренко, ныне артист Московского театра им. Ермоловой) прозрачно говорили о том, ради чего создавались «Последние письма».

И все же Хаиту показалось, что этого мало. Преснятина, намеки.

– Знаешь, мне будет стыдно перед моими друзьями за эту фигу, которую мы с тобой тщательно спрятали в кармане. Надо добавить хоть немножко соли и перца.

– Ты забыл разве, что пьеса уже прошла цензуру Главлита? – пробовал возразить я. – Мы не имеем права менять текст.

Он махнул рукой:

– Думай!

Я сделал несколько вставок в текст пьесы. Одной из них, помню, было стихотворение Бертольта Брехта, посвященное его другу, советскому писателю Сергею Третьякову, расстрелянному в 1939 году. Это и несколько других дополнений были спешно введены в спектакль. Хаит был удовлетворен – мы сделали все, что было в наших силах.

Спектакль выпустили к дате. Знаменательной и памятной для всех «шестидесятников». Премьеру «Последних писем» Харьковский ТЮЗ показал в день смерти «великого вождя», 5 марта 1968 года. На этом спектакле меня не было. За три дня до премьеры «скорая» отвезла меня с диагнозом «язвенное кровотечение» на Пушкинскую, в 27 – ю больницу. По иронии судьбы, я лежал на третьем эта-

же клиники в той ее части, которая располагалась в бывшем здании старого университетского филфака. Быть может, в той самой аудитории, где я пятнадцать лет назад слушал лекции по истории журналистики.

Поздно вечером, после премьеры, ворвались в мою палату близкие и друзья. Поздравляли, обнимали. Сожалели, что не пришлось повидать свой спектакль. Это необычное и по содержанию, и по форме действо не оставило в зале равнодушных. Многие плакали.

А потом наступила расплата. Из Киева приехала комиссия Министерства культуры УССР и пришла в ужас от увиденного на сцене. «Что вы показываете юным зрителям? Тюрьмы и лагеря? К чему эти двусмысленные намеки? Думаете, мы идиоты и ничего не понимаем?»

Начались многочасовые мучительные уговоры и угрозы в кабинете директора театра. Нам был предложен список поправок, замечаний и изменений, которые следовало внести в текст. В противном случае спектакль должен был быть снят.

Да, они оставляли нам шанс. Казалось бы, кое-что выбросить, чем-то пожертвовать – и можно спасти спектакль. Может быть, так было бы разумнее. Но мы были тогда молодыми, отчаянными, с фрондирующими сердцами. И спектакль, прошедший всего 13 раз, перестал существовать. Тень «отца народов», потревоженная в день его смерти, накрыла «Последние письма» и жестоко расправилась с его авторами.

Хаит уехал в Москву, в театр Образцова. Как оказалось, он задолго до этого подготавливал свой переезд в столицу. Я остался в Харькове. Двери студии телевидения, для которой я немало написал сценариев, передо мной закрылись. А областные газеты время от времени печатали ругательные статьи по поводу «идейно порочного спектакля Харьковского ТЮЗа «Последние письма».



Александр Беляцкий

ПАМЯТИ ДРУГА

САНЬКА – так называла его актерская братия, когда он был одним из них – них – заводным, азартным, травил анекдоты, пел и пил. Разгульная, неумемная, кипучая душа. Лидер любой актерской компашки.

МЭТР – уважительно обращались к нему тогда, когда он стал главным режиссером. Это время, к сожалению, было недолгим.

Судьба круто обошлась с ним – сперва вознесла на вершины театрального Олимпа Украины, а затем безжалостно швырнула вниз. Кого винить в этом? Злой

рок? Лживых и вероломных друзей? Его самого, не сумевшего обуздать свой буйный нрав? Попытаться найти ответ бесполезно: все так неразрывно связано между собой, причины и следствия легко меняются местами, догадки обманчивы и на поверку оказываются ложными и несостоятельными.

Не лучше ли вспомнить об Александре Беляцком в его звездные часы? Мой очерк о нем был опубликован в журнале «Український театр» в 1987 году, когда он был художественным руководителем Харьковского театра имени Шевченко. Я воспроизвожу его здесь с небольшими сокращениями и уточнениями.

Я не могу представить Беляцкого вне театра. Предположим, на лыжной прогулке. Или с фотоаппаратом через плечо. Или собирающим грибы. Для него это были бы нетипичные мизансцены.

И дело не только в том, что до предела загружен день. Что все расписано по минутам, и времени, как всегда, не хватает. Нет, состояние спокойствия, благодушного созерцания просто противопоказано биологическому ритму его природы.

Безусловно, есть и дом, и семья, и повседневные хлопоты-заботы. Но каждое утро, выйдя из метро на станции «Исторический музей», он уже принадлежит не себе – Театру. Остальное, личное, отступило, померкло в глубинах памяти, стало второстепенным. Стремительный пружинистый шаг – он уже настроен на волну театра, освободившись от всего, кроме забот и волнений сегодняшнего дня. Он уже обрел самого себя, он уже начал творить.

...Туфли актрисы не подходят к юбке, нужно заменить. Станок слишком высокий, актерам будет неудобно. Фоно-

грамму необходимо дополнить органом. И т.д., и т.п.

В творчестве для него нет и не может быть мелочей. За всем нужен глаз. И не чей-то, а его, Беляцкого.

До утренней репетиции он успевает побывать и в макетной, и в костюмерной, и у художников. Ответить на десятки разных вопросов, иногда сугубо специальных. За тридцать два года своей службы он до тонкостей изучил все нюансы сложного театрального организма, дискуссия в каждом из цехов ведется «на равных».

Есть только одно место в театре, где он чувствует себя как бы не в своей тарелке. Да простится мне такое парадоксальное суждение, это – его кабинет. Кабинет главного режиссера Харьковского театра имени Шевченко. Его обычно живые глаза здесь как-то слегка темнеют, лицо становится скучным, утомленным, и чувствует он себя, мне кажется, как выброшенная на берег рыба. Подписывать бесконечные бумажонки, отвечать на телефонные звонки, корректировать справки и отчеты – слов нет, все это нужно и важно, но, боже мой, какая скучища! Скорее бы вырваться отсюда, взлететь двумя этажами выше, где собрались актеры, где стоит старая, довоенных времен, кровать с панцирной сеткой и где репетируется сегодня финальная сцена пьесы Александра Вампилова «Воронья роща».

Шесть актеров во главе с режиссером медленно, шаг за шагом, проникают в потаенные глубины вампиловской драматургии, стремясь выяснить сперва для себя, а потом поведать зрителю, ради чего мы живем.

Это был не рядовой спектакль. «Вороньей рощей» открылась малая сцена театра. Почти десять лет тянулась нескончаемая маниловщина: «Эх, хорошо бы, как в других театрах...», «У франковцев уже есть малая сцена, а чем мы хуже?..» Речи и выступления на партийных и профсоюзных собраниях тщательно протоколировались, подшивались,

переплетались. Принимались прекрасные резолюции, назначались сроки и «ответственные за выполнение», но дело отнюдь не сдвигалось.

Беляцкому надо было во что бы то ни стало решить эту проблему. Академическая сцена находилась под неусыпным оком обкома. Жесточайшему разносу подвергалась любая попытка сломать рутину. Для осуществления тех планов, о которых мечтал Беляцкий, нужна была экспериментальная площадка, небольшой полигон, который бы позволил (конечно же, в тех же прокрустовых рамках социалистического реализма, но все же чуть-чуть иначе !) «рассказать о времени и о себе».

Помню, как долго ломали мы с ним голову, как назвать малую сцену и чем ее открыть. Перебрали множество пьес – классика, современная драматургия, западные пьесы. Увы, все не то: и пьеса, и автор должны быть знаковыми, определять, манифестировать гражданскую и художественную позицию театра.

Александр Вампилов был в те годы знаменем новой театральной волны. Его герои совсем не были похожи на бодреньких и самоуверенных строителей коммунизма. Заседавшая в отделе культуры обкома партии бюлестительница «идеологической чистоты» Людмила Выск безжалостно вычеркивала из гастрольных планов приезжавших к нам на гастроли театров «Прощание в июне», «Утиную охоту» и другие спектакли по вампиловским пьесам. Планка бдительности в украинской провинции всегда была поднята очень высоко. Можно представить себе, какого «бульдозерного напора» стоило Беляцкому (а он так и говорил о себе: «когда нужно, я прую как бульдозер») получить «добро» и на Вампилова, и на табуированное властью и потому незаслуженно забытое нежное и ласковое имя театра – «Березіль».



На малой сцене «Березіль». После спектакля «Набережная Круазетт». Автор с исполнительницей роли Зинаиды з.а. Украины А. Плохотнюк

Мне неоднократно приходилось слышать, что Беляцкий более постановщик, нежели режиссер. Ошибочное мнение. В моих записях – разговор с народным артистом СССР Леонидом Тарабаринным. В спектаклях Беляцкого он создал ряд, можно сказать, диаметрально противоположных образов: Тарас Шевченко («Шлях» А. Беляцкого и З. Сагалова), Тевье-молочник по Шолом-Алейхему, Адольф Гитлер («Тот первый день» Л. Дмитерко). Какой широкий диапазон даже для такого мастера сцены, каким являлся Л. Тарабарин.

– Сперва некоторые назначения удивляли меня своей неожиданностью, – рассказывал Леонид Семенович.

– Позже не раз убеждался: Беляцкий знает меня лучше, нежели я сам. Работает он с актером кропотливо, неспеша. Дает полную свободу для импровизации, а затем, отсекая все лишнее, помогает найти тот нерв, то зерно, из которого рождается образ. Сложной была для меня роль Трубоча (речь идет о главном герое нашей с Беляцким пьесы «705 дней до Нюрнберга» – З. С.).



Сцена из спектакля «705 дней до Нюрнберга». Слева направо: Трубач – н.а. СССР Л. Тарабаринов, епископ Худал – з. а. Украины Ю. Евсюков, Вальтер Рауф – н. а. Украины В.Маляр

С одной стороны, это следователь, судья. С другой – лицо от Театра. Но в то же время это не абстрактный «Ведущий», а человек, переживший глубокую личную драму – гибель сына в Афганистане. Как синтезировать в себе этот сплав публицистики и психологической достоверности? На одной из репетиций Александр Григорьевич бросил фразу : «Играй так, словно бежишь от инфаркта». Я понял, что мой герой – и следователь, и отец – живет на пределе человеческих возможностей, и боль за погибшего сына перерастает в тревогу за всех сыновей на земле, за будущее планеты... Сотворчество актера и режиссера – сложный и очень интимный процесс. Актер не видит себя со стороны, он во всем доверяется режиссеру. Глазами, словом, интонацией Беляцкий дает мне почувствовать, правильно ли я трактую роль и нет ли в моих действиях фальши. Я верю ему, как зеркалу.

Хитро и сложно устроено это режиссерское «зеркало». За ним и широкая эрудиция, и жизненный опыт, и взыскательный вкус, и четкая гражданская позиция (не заемная, а выстраданная, своя).

Читаешь биографии режиссеров – один до прихода в театр был инженером, другой – геологом, третий – юристом... Беляцкий не знал этих болезненных метаний: кем быть? Он не выбирал себе профессию – она сама нашла его. И было ему тогда чуть больше пяти – детдомовский пацанчик в серой курточке, круглый сирота, потерявший в войну отца и мать. И он хорошо помнит тот день, когда детдомовский сторож дядя Миша, инвалид на одной ноге, дал ему подержать трофейный немецкий аккордеон и, нажимая на перламутровые клавиши, обучил нехитрой и задушевной мелодии тех лет: «На позицию девушка провожала бойца...» Не винтики и гаечки, не пистолетики и машинки – музыка вошла в жизнь этого мальчишки, заворожила, завладела им властно и безраздельно.

Его дар заметили, стали учить игре на гобое. Со временем Саша поступил в хореографическое училище. Впервые вышел на сцену в балете «Красный мак» Р. Глиера. Аплодисменты, цветы. Нет, не ему, конечно. На огромной сцене Киевского оперного театра маленький танцовщик потерялся среди других учеников – участников хореографической массовки. Но чувство причастности к великому чуду театра определило его дальнейшую судьбу.

Казалось бы, все складывалось удачно. Закончена десятилетка, документы поданы в Театральный институт, выучен монолог Ярослава Мудрого из пьесы И. Кочерги – что ж, Санька, вперед! Но жизнь распорядилась иначе: своей фамилии в списках зачисленных он не увидел.

– Тогда была тенденция набирать высоких, плечистых – будто для лейб-гвардии его императорского величества, – говорит он с ироничной улыбкой. – А я был среднего роста,

невзрачный, худой. В герои не годился. Вот и завернули.

Но не таков Беляцкий, чтобы сдаться. Театр не распахнул перед ним двери – ну что же, он может впрыгнуть и через окно! И спустя несколько месяцев во вспомогательном составе Закарпатского муздрамтеатра появился новый молодой актер – Александр Беляцкий. Символична его первая роль: он играл самого себя – детдомовского парнишку Колю в пьесе Аркадия Школьника «Человек ищет счастья».

Шесть лет в Ужгороде не прошли даром. Овладел основными навыками актерского ремесла, пел, танцевал. В 1961 году переехал в Харьков, поступил в ТЮЗ. (Не могу не отметить попутно, что присущая театральной братии «охота к перемене мест» совсем не характерна для Беляцкого. Театр им.Шевченко был третьим и последним в его театральной судьбе).

На тюзовской сцене я видел его в разных ролях. Коварный и ужжасно кровожадный Бармалей («О чем рассказали волшебники» В.Коростылева), романтик и фантазер Сашка в светловских «Двадцать лет спустя», нарушитель небесного спокойствия Ангел Д, который молодежато вытанцовывал модный в те годы рок-н-ролл («Божественная комедия» И. Штока), комсорг школы Вадим Остроухов («Они и мы» Н. Долининой). Ведущие роли, интересные работы, заслуженный успех у зрителей. Что же заставило его, одаренного и уже признанного актера, сойти с проторенного пути и искать себя в новом качестве, в режиссуре?

Он начал понимать, что в современном театре недостаточно только владеть техникой – уметь танцевать, петь, лицедействовать. Надо было учиться умению думать.

Пожар в театре, вынужденное безделье привели артиста Беляцкого на заочное отделение Театрального училища имени Щукина при театре им. Вахтангова. Ему было тридцать пять лет.

Чего греха таить, учился он легко и весело. Не утруждал себя штудированием мудреных дисциплин. Главным было общение с мастерами – Б. Захавой, В. Эуфером, А. Паламышевым. Часами сидел он на репетициях Эфроса и Завадского. Не конспектируя, не ведя дневниковых записей («терпеть не могу писанины!»), восприимчивым, чутким сердцем художника он постигал азы профессии – то, о чем ни в каких книгах не прочитаешь.

Возвратившись в Харьков с дипломом «Щуки», он с жадностью окунулся в работу. Ставил одну пьесу за другой: драмы, мюзиклы, сказки. Не терпелось испытать себя в разных жанрах. Он экспериментировал, искал.

Буйство фантазии в его первых режиссерских опытах, постепенно уступало место тщательному и вдумчивому отбору выразительных средств. Спектакли, поставленные на академической сцене театра им. Шевченко, отличались от тюзовских, «молодежных», строгим лаконизмом и глубокой режиссерской партитурой. И все же в каждом из двух десятков «живых полотен», созданных Беляцким, ощутим его особый режиссерский почерк.

Мне посчастливилось видеть все его спектакли и принимать участие в репетициях нескольких пьес, написанных нами совместно. Не раз удивляло меня его обостренно поэтическое видение, способность в житейском, будничном разглядеть метафору, образ. В спектакле «Письма к другу» А. Лиханова и И. Шура зрители не увидели прикованного к постели Николая Островского, как написано было в пьесе. Высокий, плечистый, красивый парень (арт. А. Ермаков) играл не сломанного физическими страданиями человека, а его душу. Он пел, танцевал, заражая своей неуемной энергией товарищей – и в этом отступлении от правды бытовой была иная правда – правда искусства.

Ради создания яркого поэтического образа Беляцкий и сценограф Т. Пасечник, не колеблясь, сдвигают границы

реального: летают в воздухе школьные парты («Присядем-полетаем» С. Вольфа), двигаются в ритме музыки заводские трубы («Начало фанфарного марша» А.Беляцкого и З.Сагалова), оседают и рушатся зловещие стены ночлежки («На дне» М.Горького). Символы, знаки, аллюзии поэтического мышления щедро рассыпаны в спектаклях Беляцкого, помогая зрителю выйти из житейских рамок произведения для постижения его глубинной сути.

Неизменным компонентом всех его спектаклей являлась музыка. Не иллюстративная, не бытовая, а организующая сценическое действие. Часто, только знакомясь с пьесой, он, музыкант по природе, уже чувствовал звуковой ряд спектакля.

– Построим все на «Аве-Мария», – сказал он мне, приступая к постановке нашей с ним пьесы «705 дней до Нюрнберга». – Увидишь, как она здорово ляжет.

Я удивился: спектакль о Харькове, о войне. Причем же здесь «Аве-Мария»? И только на репетициях, а потом уже на спектакле я убедился в правильности его внутреннего чувства. Неземная, величественная мелодия, ставшая лейтмотивной, подняла основную идею спектакля – надежду людей на торжество добра и справедливости.

В своих первых спектаклях Беляцкий, отдавая дань эстетике брехтовского театра, включал в действие зонги и хоры. Делал он это всегда умело, с тонким вкусом и пониманием места и функции таких музыкальных вторжений. Благодаря этому они были не вставными номерами, а точками наивысшего идейного и эмоционального напряжения. Особенно интересной, поистине новаторской была тюзовская постановка пьесы Я.Стельмаха «Спроси когда-нибудь у трав...» Этот «зонг-спектакль» – так был обозначен его жанр на афише – был весь пронизан музыкой (композитор Б.Киселев, стихи З.Сагалова). Почти год работал Беляцкий с драматическими актерами, добываясь от них профессионального мастерства

в исполнении сложных вокальных партий и развернутых ансамблей.

Световые репетиции – не зря их в театре называют «адовыми» – всегда изнурительны для актеров. А в палитре Беляцкого свет – один из важнейших компонентов сценического языка. Он решительный противник спокойного, нейтрального освещения. Здесь он не знает никаких компромиссов, мучает себя, изводит осветителей, часто прерывает прогон, без конца корректируя световую партитуру.

Не буду грешить против правды: на репетициях в академическом театре он часто вел себя далеко не академически. Бывало, что в дни предпремьерной горячки пошлет на весь зал куда подальше и завпоста, и радиста. Но что удивительнее всего – люди зла на него не держали. Знали, что «Григорьевич» человек добрый и отходчивый. И ежели кричит, то, по сути, справедливо.

Актер Владимир Борисенко, тюзовец, перешел в Театр им. Шевченко следом за Беляцким. Почему? Володя принес мне несколько листиков из блокнота, исписанных мелким и аккуратным почерком.

Вот что, в частности, он написал:

«Александр Григорьевич умеет быть терпеливым и прощать ошибки, но иногда может и наказать, если актер это заслуживает. Был в моей жизни тяжелый и мрачный период, сильный психологический стресс. Если бы не помощь Александра Григорьевича, если бы не его участие в моей судьбе, не знаю, чем бы все закончилось. Когда-то в шутку я называл его словами Шельменко: «отець і батько рідний.» Нет, не в шутку – он правда родной и близкий мне человек. Я мечтаю всегда работать с ним».

Этими словами заканчивался мой старый очерк об **Александре Беляцком**, в ту пору художественном руководителе Театра им. Шевченко. Тогда он был в зените своей славы. Возглавив этот прославленный театральный коллек-

тив, он сказал мне: «На всю оставшуюся жизнь». Увы, театральная его судьба оказалась до обидного короткой. Кто виновен в том, что в расцвете творческих сил Беляцкий был вынужден уйти из Театра им. Шевченко – он сам, не выдержавший испытания славой, вскружившей ему голову? Или же непоправимый удар судьбы – внезапная смерть жены? А может быть, дружные усилия недоброжелателей, которых всегда хоть отбавляй у людей талантливых и удачливых? Не будем «после драки махать кулаками», теперь это ни к чему.

Он выполнил свое предназначение. Родил сына, у которого долгие годы жил в Питере. И посадил свое дерево, вписав неповторимую страницу в историю украинского театра.



П.И. Чайковский

ВОКРУГ ЧАЙКОВСКОГО

Шестидесяти лет отроду народный артист Украины Павел Павлович Антонов положил на стол художественного руководителя Харьковского театра им. Пушкина заявление об уходе. На недоуменные вопросы ответил твердо и решительно: «Все, что я хотел сыграть, я уже сыграл. А старость свою, извините, я играть не желаю».

А ведь был он тогда в зените своей актерской славы. Популярность его у харьковчан была велика. Завзятые театралы по несколько раз смотрели спектакли с его участием – они всегда шли при переполненных залах – ходили «на Антонова».

Павел Павлович сыграл более ста ролей, мог бы и продолжить счет... Но вот – «наступил на горло собственной песне», поставил точку, ушел. Красиво, элегантно, с улыбкой, которая, возможно, скрывала то, что творилось в душе.

Тосковал ли он по театру, в котором прослужил более двадцати лет?

Вдова Павла Павловича Валентина Марковна Каракоз, тоже артистка, так отвечает на мой вопрос:

– Понимаете, он был человеком мужественным: что сделано, то сделано, всякое самоедство было чуждо ему.

Вместе с ней мы рассматриваем фотографии – единственная, пожалуй, память о его ролях. Великий князь Кирилл в спектакле «Порт-Артур» по роману А. Степанова – одна из первых работ молодого артиста, приглашенного в Харьков из Ярославского театра им. Волкова. Холеное, чуть высокомерное лицо, лихо закрученные тонкие усики, властный взгляд – и впрямь аристократ «голубых кровей».

А ведь родился и рос не в графском имении, а в глухой самарской деревеньке Елшанка, в самой что ни на есть бедняцкой крестьянской семье. Откуда же такой врожденный аристократизм, если не от Бога? А осанка, военная выправка – это уже неизгладимый, на всю жизнь оставшийся след собственной судьбы, через которую красной нитью прошла война. Антонов был офицером, командовал подразделением минеров, все четыре года воевал на разных фронтах. Сталинград, Украина, Польша... От военной службы осталась не только выправка, но и исключительная собранность, организованность, аккуратность. Ему предлагали остаться в армии, но мечта о сцене, теплившаяся с детства, взяла верх.

– Его первых спектаклей я не видела, – вспоминает Валентина Марковна. – Заканчивала театральный институт и уже выступала в театре им. Шевченко. Впервые же об Антонове услышала от подруг: «Какой актер, Валька, в русской драме появился, обалдеть! Голос, манеры – ну вы-

литый Гамлет, принц датский!» Заинтриговали, конечно, бабоньки. Но впервые увидела Антонова не на сцене. Помню, была встреча харьковских актеров с выпускниками театрального института. После торжественной части и концерта – танцы. Оркестрик заиграл «Бродягу» – помните, был такой шлягер из модного индийского фильма? Вдруг вижу – через весь зал, обходя танцующие пары, приближается ко мне незнакомый мужчина. Сердце заколотилось: сразу поняла – это он, «принц датский»! Взгляд светло-голубых глаз прямо-таки магнетический, пронзительный, властный. Поклонился, пригласил, повел в танце. Так с этого «Бродяги» все и началось. Перетянул меня в «свой» театр, потом сын у нас родился, Виталий, трудные годы были. Павел Павлович неизменно помогал мне в работе. Терпеливо исправлял мою «слобожанскую» речь. Ведь у Антонова была отличная актерская школа – он закончил студию при театре Советской Армии у такого мастера, как народный артист СССР А. Д. Попов.

Гляжу на висящий в комнате большой портрет Павла Павловича, всматриваюсь в его лицо и вспоминаю слова Куприна: «Каким чудом может человек, обыкновенный смертный человек, достигнуть такой силы перевоплощения». И ведь действительно, лицо Антонова так искусно было вылеплено природой, что лишь незначительные изменения прически, легкий грим позволяли артисту принимать облик реальных исторических личностей. Он был дипломатом Чичериным и революционером Бауманом, царем Иваном Грозным и «железным наркомом» Держинским, круглолицым Ломоносовым и высоколобым Некрасовым, трагическим Гоголем и романтическим Петефи.

– А вот то, что вы искали, – говорит Валентина Марковна, показывая мне еще одно фото: Антонов – Чайковский.

Эта роль переносит меня в далекий 1963 год, когда Харьковская студия телевидения выпустила в эфир спектакль

«Дорогой мой друг...», посвященный великому композитору. Не без влияния на шумевшей в те годы пьесы Д. Килти «Милый лжец» я обратился к эпистолярному наследию Петра Ильича, в основном к его переписке с Надеждой Филаретовной фон Мекк. Их почтовый роман, как известно, длился без малого четырнадцать лет. Более тысячи писем написали друг другу композитор и его «добрый гений», миллионерша, пламенная и верная почитательница его таланта.

Свою пьесу, которая первоначально называлась «Освещенная солнцем», я послал нескольким театрам. Кое-какие обнадеживающие вести приходили из Калинина, из Волгограда, но вскоре и они обернулись обычными мыльными пузырями, которые, как известно, лопаются, оставляя после себя мокрые пятна несостоявшихся надежд.

Еще в ту пору, когда в Библиотеке Короленко я корпел над объемистыми, в потертых кожаных переплетах, томами переписки Чайковского с фон Мекк, старательно выписывая для будущей пьесы характерные фразочки, афористические выражения, эмоциональные тирады, мне казалось, что идеальным Чайковским на сцене был бы народный артист СССР А. Ф. Борисов.

Почему именно он, думаю, понятно. Александр Федорович, прекрасный актер, мастер глубокого психологического портрета, создал на экране целую галерею великих людей прошлого – Герцен, Мусоргский, академик Иван Павлов. Тогда еще не было фильма И.Таланкина о Чайковском, а Смоктуновский, блистательно сыгравший в этой картине Петра Ильича, только начинал свою артистическую карьеру. Поэтому не удивительно, что я, работая над пьесой, видел перед собой А.Ф.Борисова, писал, примеряя на него каждую фразу. Достоинство удивления другое – оказывается и сам Александр Федорович мечтал сыграть Чайковского. Об этом я узнал, послав свою пьесу замечательному артисту, из первых же строчек его ответного письма:

Уважаемый т. Сагалов! (простите, не знаю вашего имени, отч.).

С большим волнением приступил я к чтению Вашей пьесы, ибо образ Чайковского давно меня волнует, да и крепкий это орешек, который до сих пор не раскусил ни один автор, бравшийся за эту тему.

Это трудно, очень трудно, потому что личная биография Чайковского не так активна, чтобы можно было строить действие на его личной жизни, надо выдумывать, а все выдуманное всегда плохо.



**Народный артист СССР
А.Ф.Борисов**

Чайковский весь в своем творчестве, вот тут он и страстный борец за национальное искусство, тут он нетерпим к чужому влиянию в музыке, тут он и патриот и мыслитель, и бурен, и лиричен, и все, что хотите!

Но как это все отобразить в разговорной пьесе? Вот задача!

Мне очень понравилась форма, найденная Вами, хотя сейчас уже вышло много дуэтных

пьес и могут упрекнуть в подражательстве, хотя я уверен, что Вы ее написали значительно раньше выпуска пачки пьес для двоих, да и не в этом дело, если найти хорошее режиссерское решение, то пьеса может прозвучать. Но тут, мне кажется, есть одна беда, которой я и опасался.

Читая и перечитывая Вашу пьесу, знакомясь с подлинниками, я ощутил односторонность раскрытия образа Чайковского.

Большая, сердечная, нежная, глубокая дружба, не состоявшаяся любовь может тронуть человеческие сердца,

может вызвать досаду и слезы над неудачно сложившейся личной жизнью, не решает основной проблемы раскрытия образа Чайковского, гения человечества, раскрывшего миру богатство русской души, ее творческое богатство, глубины и огромный масштаб.

Конечно, можно рассказать и об этой стороне жизни Чайковского и, согласитесь, самой уязвимой стороне его биографии, но это не решает основного – объемного представления об образе Чайковского со всеми противоречиями.

Повторяю, мне очень понравилась составленная Вами композиция. Умно и глубоко, и кажется, если найдется умный, музыкальный режиссер, то для филармонии, в концертном плане, в сопровождении музыки Чайковского, это должно прозвучать великолепно.

Театр обязывает к всестороннему раскрытию образов и действий, а в концертном исполнении допустима всякая условность и внешнее сходство не обязательно, главное – донести сердечность, теплоту человеческих взаимоотношений, а все это в Вашей пьесе есть.

Простите, что задержал с ответом, но уж очень загрузка у меня большая и не было возможности ответить раньше. Возможно, я и ошибаюсь в своем ощущении и буду очень рад сознаться в своей ошибке, если Ваша пьеса с успехом начнет путешествие на сценах театров.

Желаю Вам всяческих успехов.

Уважающий Вас

БОРИСОВ А.Ф.

Ленинград, театр им. Пушкина

PS. Может, вы мне разрешите оставить Ваш экземпляр у себя (на всякий случай), если он Вам необходим – черкните, я сразу вышлю.

А.Борисов

Но надежда на «всякий случай», к сожалению, не сбылась. Увидеть свою пьесу на сцене прославленного ленинградского театра мне так и не довелось. Не сыграл роль великого композитора ни в театре, ни в кино и Александр Федорович Борисов. А жаль...

Тогда я предложил пьесу Харьковской студии телевидения, с которой сотрудничал в течение нескольких последних лет. Пьеса понравилась. Старший редактор музредакции Ольга Алексеевна Бойко предложила другое название: «Дорогой мой друг...» Так начиналось большинство писем обоим корреспондентов. Это название и осталось в телевизионной версии спектакля.

Кто будет играть Чайковского – такой вопрос даже не стоял перед режиссером Иваном Даниленко. Конечно, только Антонов! Уже первые фотопробы, стоило лишь приклеить усы и бородку клинышком, подтвердили правильность выбора: это был «подлинный» Чайковский. Но внешнее сходство – лишь начало работы над образом.

– Мой незабвенный учитель Алексей Дмитриевич Попов, – в своих разговорах Антонов часто вспоминал заветы Мастера, – наставлял нас, студийцев: «Слова и действия – лишь приметы на поверхности роли: по ним надлежит начать глубокое бурение, доколе не забьет горячий фонтан чувств».

Верный своей наработанной за долгие годы «методе», Павел Павлович стал погружаться в глубины духовной сущности гения русской музыки. Читал биографические книги о Чайковском, воспоминания его современников, часами слушал пластинки с музыкой Петра Ильича, особенно Четвертую симфонию, посвященную фон Мекк. Приходя на репетиции, он уже подчас знал о своем герое не меньше, чем сам режиссер.

Но «глубокое бурение» роли, пробуждение в себе «фонтана чувств» невозможно без взаимодействия с партнером.



Н.Ф.фон Мекк

Кто же из харьковских актрис должен составить дуэт с Антоновым

Сохранилось лишь несколько искаженных временем фотографий Надежды Филаретовны фон Мекк. Имя этой московской барыни неминуемо затерялось бы в истории, если бы не свет гения, случайно упавший на ее судьбу. («Освещенная солнцем» – так и называлась моя пьеса в дотелевизионном варианте).

Однажды я принес на студию с трудом найденную фотографию Надежды Филаретовны. Показал режиссеру.

С портрета глядело на нас малосимпатичное, с сомкнутыми тонкими злыми губами лицо деловой, лишённой всякого обаяния женщины.

– Знаешь что, – сказал Даниленко, подумав, – оставь ее себе на память. Мне такая фон Мекк не нужна. В письмах она иная – эмоциональная, чувственная, поэтичная. Разве только его музыка вызывала в ней этот душевный подъем? Разве сам Петр Ильич был безразличен ей? Вот ее слова из твоей же пьесы: «с этого вечера я стала вас обожать», «моя любовь к вам есть также фатум, против которой моя воля бессильна». А что она пишет Чайковскому после его развода с женой: «Я ненавидела эту женщину за то, что вам было с ней нехорошо, но я ненавидела бы ее еще в сто раз больше, если бы вам было с ней хорошо. Мне казалось, что она отняла у меня то, что может быть только моим, на что я одна имею право, потому что люблю вас как никто, ценю выше всего на свете...» Вот что было в глубине ее женского

сердца. Но Чайковский в силу разных обстоятельств не ответил на эту любовь, они по обоюдному согласию так никогда и не виделись в жизни. И в этом, возможно, глубочайшая личная драма этой безраздельно влюбленной в него женщины. Очарованная волшебством его музыки и обаянием его личности, она должна быть удивительно красива, как каждая влюбленная женщина. И я уже знаю, кто будет играть фон Мекк – Рея Колосова!

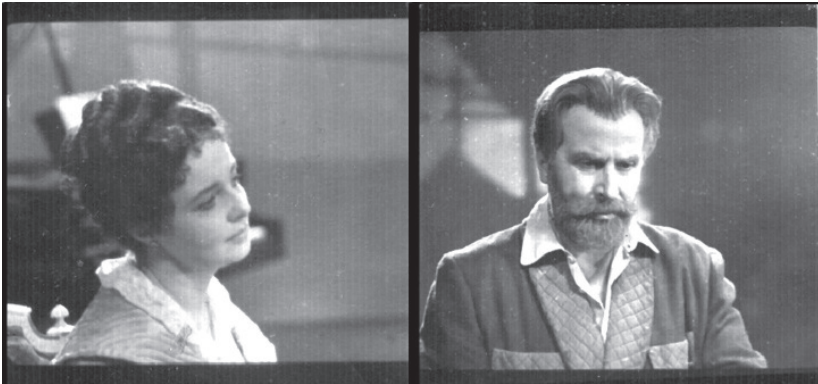
Прав ли был Ваня Даниленко, верен ли был его режиссерский прицел? Думаю, что да. Не будь у телевизионной фон Мекк красоты и обаяния, зритель, наверное, был бы убежден, что отношения этих двух людей носили чисто материальный характер (богатая «спонсорша», как сказали бы теперь, помогает талантливому музыканту).

Очаровательная Рея Колосова, «звезда» театра им. Шевченко той поры, сразу же повела роль на тонкой грани дружбы-любви. То и дело, опасаясь неосмотрительно вторгнуться в личный мир Чайковского, она сдерживает свой искренний душевный порыв. И в этом борении с собственным чувством заключался тот необходимый контрапункт, который не только способствовал богатой нюансировке роли, но, что самое главное, дал дополнительные краски к образу самого Чайковского

– Играть с Антоновым было для меня наслаждением, – говорила мне спустя много лет Рея Александровна, вспоминая эту свою работу на голубом экране. – Он был исключительно правдивым артистом, органичным, ни единой фальшивой нотки. Роль в этом телеспектакле и для меня, и для него была несколько необычной. Ведь для актера, как вы знаете, одним из ключевых моментов является общение с партнером. А как могут взаимодействовать люди, никогда в реальной жизни не встречавшиеся друг с другом? Их разговоры поэтому носили условный характер, по сути, это были реплики-монологи, обращенные к отсутствующему

собеседнику. Поэтому ощущение незримого партнера, его эмоционального настроения в этом спектакле были особенно важны, помогая преодолеть сценическую условность.

Телевизионный спектакль «Дорогой мой друг...» имел успех у зрителей. Харьковское телевидение показывало его несколько раз.



**Кадры из телефильма «Дорогой мой друг...»ХСТ.
фон Мекк - нар. арт. Украины Р.Колосова,
Чайковский – нар. арт. Украины П.П. Антонов**

Примерно через год после премьеры решено было снять спектакль на киноплёнку. Полнометражный фильм Харьковской студии телевидения о Чайковском показывали по Центральному телевидению, он был отмечен премией на международном фестивале в Александрии.

Однако сам телефильм постигла печальная судьба. На студии сменилось руководство, и новая администрация старательно и безжалостно уничтожала то, что было сделано предшественниками. Попал под гильотину и «Дорогой мой друг...». Под предлогом выполнения плана по сдаче серебра киноплёнку смыли. Это был единственный экземпляр.

О работе двух замечательных харьковских артистов – П. П. Антонова и Р. А. Колосовой можно только писать воспоминания. Увидеть их на экране, к великому сожалению,

нию, невозможно...

С Павлом Павловичем Антоновым была связана и еще одна задумка – правда, изначально она принадлежала не мне. Возглавивший Харьковский театр им. Пушкина Владимир Иванович Ненашев предложил мне написать пьесу о Репине. В театре, да и в городе знали, что новый главреж – ставленник и закадычный дружок все сильного редактора «Огонька», правофлангового российской «черной сотни», драматурга-царедворца Александра Софронова. Репин, как я сразу же понял, понадобился Ненашеву для того, чтобы выслужиться перед обкомом: местная и патриотическая тема, местный автор, оригинальный спектакль, рожденный в театре. Сколько жирных галочек можно поставить новому, недавно появившемуся в Харькове театральному деятелю. А за этим – премии, звания, столичные театры...

Репина должен был играть, конечно, Антонов, Мусоргского – Юрий Жбаков, бурлака Канина – Женя Лысенко. Но вот беда – не находилось роли для супруги главного, заслуженной артистки РСФСР Нины Подаловой. Женщина крупногабаритная, мужеподобная, она играла могучих донских казачек в софроновских пьесах. Но решительно не вписывалась в круг репинских женщин. А как же без нее? Нельзя, нельзя...

«Придумайте для Нины Ивановны роль Ведущей, – бросил как бы вскользь Ненашев. – Пусть это будет лицо от театра – помните, как Качалов в мхатовском «Воскресении». Подумайте. Может быть, это История или сама Россия».

Во куда заехал Владимир Иванович! Но не терять же мне первый социальный заказ театра! Воткнул Ведущую, написал пьесу, Ненашев одобрил ее, направил мой опус в Министерство культуры УССР, стали ждать. Наконец, спустя пару месяцев, вызвали меня в репертуарно-редакционную коллегию. Пышноусый Шведов, возглавлявший ее, устроил мне зверский разнос. Разъярившись, он хлестал меня

лютыми словами, как гайдамак нагайкой, не давая мне ни возразить, ни объяснить. «Тут до вас сидел один автор, – сказал Шведов, ослабаясь, – так он схватил стул и кинулся на меня. Убить хотел, мерзавец. Так что я ко всему привык».

Я не стал ломать стульев о голову Гайдамака. (Хотя и пожалел, что моему коллеге не удалось прикончить этого садиста). Купил обратный билет до Харькова и уехал.

Надеялся, что Ненашев, которому пьеса вроде бы понравилась, сможет ее как-то защитить, отстоять. Ведь у главных есть неоспоримое право сказать министерскому чиновнику: «Разрешите мне взять эту пьесу, я вижу спектакль, доверьтесь мне». Но он не сказал этих слов. Зачем ссориться с властями, наживать себе врагов? И Владимир Иванович, как сказали бы сейчас, «кинул» меня.

В театре стало известно, что ожидаемый спектакль о Репине, о котором широко раструбил в своих газетных интервью Ненашев, «откладывается», но «работа с автором» продолжается. Такая была придумана им спасительная формулировка, чтобы постепенно все забылось, стерлось из памяти. Единственный, кто искренне жалел о несостоявшемся спектакле, был несостоявшийся Репин – Павел Павлович Антонов.

В театр я уже не заходил, как раньше: не было надобности. Но, встречая Антонова на улице, вынужден был отвечать на его недоумевающие вопросы: «Что с Репиным? Что вы тянете, дорогой? Время уходит, я ведь старею. В чем дело?» всяческими отговорками: «Понимаете, Павел Павлович, Репин очень неоднозначная фигура. С одной стороны, гений русской живописи... Но ведь нельзя забывать, что он, очутившись за границей, не пожелал возвратиться на Родину, не признал советской власти. Так сказали мне в Министерстве и, к сожалению, я не вижу никакой перспективы для дальнейшей работы». «Глупости!– взорвался он.– Ваша пьеса о раннем периоде Репина, при чем здесь эмиграция?

Вы же писатель, ваше право на чем-то сделать акценты, а что-то опустить. Вспомните вашего «Чайковского». Вы создали образ гения русской музыки. Но ведь в личной, интимной жизни он был... мягко говоря, с большими отклонениями... Такого Чайковского, я бы, извините, ни за какие коврижки не согласился бы играть. Педераста – ни за что!»

Эти гневные слова милейшего Павла Павловича я вспомнил уже в Германии, в Аугсбурге, где решил подновить старую пьесу о Чайковском и фон Мекк. Стал читать литературу о Чайковском. За годы, прошедшие после того, как была написана «Освещенная солнцем», появилось большое количество новых работ как на русском, так и на других языках. Образ гения русской музыки уже не казался мне таким безоблачно хрестоматийным, как в пятидесятые годы. Наоборот, я видел перед собой человека, обуреваемого страстями, пытающегося, но не властного разорвать их роковое кольцо. И выражающего в музыке трагедию своей души. Я не стал исправлять старую пьесу. Я просто сел и написал новую.

Один эпизод из пьесы «Далекая палуба, или Яд для Петра Ильича».

Чайковский рассказывает интимному другу своей юности поэту Алексею Апухтину, что решил жениться. Поэт лежит на диване в голубом с золотом шлафроке. Ему смешно. Все, о чем поведал Петр Ильич, кажется ему забавным фарсом.

ЧАЙКОВСКИЙ. Мне тридцать семь. Не пора ли строить свой очаг?

АПУХТИН. Надеть хомут ради этой дуры с брусничным вареньем?

ЧАЙКОВСКИЙ взволнованно ходит взад-вперед по комнате.

ЧАЙКОВСКИЙ. Почитал бы письма моего старого вось-



П. Чайковский



А. Апухтин

мидесятилетнего отца. И он, и мои близкие умоляют меня жениться, создать семью.

АПУХТИН. Нарожать детей, играть с ними в казаков-разбойников, да? Или гоняться с сачком за бабочками?

ЧАЙКОВСКИЙ. Хотя бы. Век мне что ли бобылем жить?

АПУХТИН. Прости, Пьер, ты хоть догадываешься, для чего мама произвела тебя на свет божий? Не знаешь? Тогда слушай, дорогой. Чтоб твоим именем гордилась музыка наша. И все мы, человеки русские.

ЧАЙКОВСКИЙ присаживается на диван.

ЧАЙКОВСКИЙ. Что делать, что делать, ума не приложу.

АПУХТИН. Пьер, милый... *(Берет его руки в свои, нежно).*

Вспомни двух чудных юношей, их рядом стоящие кровати в дортуаре училища. О чем шептались они до поздней ночи, о чем грезили, сплетая во тьме свои горячие грешные руки? ...И ты, предатель, хочешь все это забыть?

ЧАЙКОВСКИЙ. Прости, Леля... Но мне кажется... Ты немножко ревнуешь меня к этой... моей новой знакомой.

АПУХТИН. Немножко? Да я... Я не отдам тебя ей, слышишь?

ЧАЙКОВСКИЙ мягко, но настойчиво отводит его руки. Встает.

ЧАЙКОВСКИЙ. Нет, Леля, нам следует забыть прошлое,

вычеркнуть его из своей памяти. Моя женитьба зажмет рот всякой твари, которая шепчется и злословит по поводу моих, да и твоих пороков.

АПУХТИН. Плевать! Я сам свой высший суд!

ЧАЙКОВСКИЙ. И я не дорожу мнением этих шавок. Но ведь они причиняют огорчения людям, мне близким. Саша, сестра моя, обо всем догадывается. Я это чувствую, кожей своей. И не только она. Мне тяжело, невыносимо тяжело, что меня жалеют и прощают любимые мною люди, когда я, в сущности, ни в чем не виноват.

АПУХТИН. Думаешь, что, женившись, ты станешь иным?

ЧАЙКОВСКИЙ. Не знаю, как ты, но я пришел к выводу, что мои привычки... мои склонности пагубные суть величайшая и непреодолимая преграда к счастью.

АПУХТИН. А ты... ты переделать себя сможешь?

ЧАЙКОВСКИЙ. Должен, Леля. Должен. Я еду к ней.

АПУХТИН. Нет!! (*Упал перед ним на колени, обнимает его*).

ЧАЙКОВСКИЙ. Встань! Никогда больше, слышишь? Я делаю ей предложение. Это судьба! (*Убегает*).

АПУХТИН продолжает стоять на коленях. По его лицу катятся слезы...



р.с. Этого Чайковского пока что никто еще не сыграл.

П. Чайковский (сидит справа), племянник композитора Георгий Карцев (справа), В. Жедринский (слева), А. Апухтин (второй слева)

ЧТ НА ПРЕМЬЕРЕ



Харьковский театр им Т.Шевченко

Премьера в театре – всегда трепет и волнение. Как бы ни была отрепетирована пьеса, всегда может случиться «наклад-ка», как говорят в театре. От волнения перед первой встречей со зрителем ломается каблук у героини, в прожекторе перегорает лампа, а запасной нет. У кого-то ангина, село горло, лечим всем скопом.

Единственный театр, пожалуй, где день премьеры, как мне показалось, не отличается от других дней, это Курский имени Пушкина. С академическим спокойствием встречает меня за несколько часов до премьеры художественный руководитель театра Юрий Валерьевич Бурэ, мы неспеша пьем кофе, невозмутимо шутим, ибо все взвешено и просчитано и ничего случайного не может произойти – каблук не ломается, лампа не перегорает, никто не врывается в кабинет с безумными глазами. Все под контролем, все идет своим чередом.

Премьера, о которой я хочу рассказать, подбросила нам с Беляцким сюрприз – на сей раз из зрительного зала.

В то время, когда мы оба служили в ТЮЗе, я, по заданию главного режиссера(им был Александр Григорьевич Беляцкий) искал материал для пьесы к годовщине Победы. Нужно было найти исторический факт, какое-нибудь событие или судьбу, связанные с военным прошлым Харькова. В областном архиве, в библиотеке им. Короленко я, как сказал поэт, «каждый день форсировал Босфор малодоступных публике обложек».

В один из дней мне на глаза попала небольшая книжечка, изданная в 1943 году. Потрепанная, на желтой бумаге, в серых картонных корочках. Это были стенограммы военного трибунала 4-го Украинского фронта. Оказывается, в Харькове, через несколько месяцев после его освобождения от оккупантов, состоялся первый в истории судебный процесс над военными преступниками. Невелики были чины этих рядовых палачей Третьего рейха, но это был первый суд над фашизмом, ставший одной из вех на пути к Нюрнбергу.

Удивительно, что мы оба не знали об этом факте. Я написал книгу из хранилища, мы начали ее читать с Сашей вместе, наперебой выхватывая друг у друга.

Четверо подсудимых – трое немцев и один русский, водитель душегубки. Идет допрос. Вопрос – ответ, вопрос – ответ. Драматургическая форма, страшные слова: «я приказал...», «я составлял списки на расстрел».

Один из подсудимых – сын профессора, юрист. «Скажите, Риц, лично вы стреляли?» – «Понимаете, господин прокурор, вначале я стоял в стороне и наблюдал. Вдруг майор подошел ко мне и сказал: «Ну-ка, Риц, покажите, на что вы способны?» Что я мог сделать? Я ведь офицер. Оскандалиться на виду у всех? Я взял у одного эсэсовца автомат и дал очередь».

Обжигающая правда, подлинность документа.

Сразу же вспыхнула идея – одновременно у обоих, как это часто бывало при нашем сотворчестве – перенести процесс на сцену, воспроизвести его с максимальной точностью.

Документальная драматургия к семидесятым годам прошлого века мощно прорвалась на сцены театров, вытесняя вранье и ложь сконструированных литературных придумок. Открывались архивы и «спецхраны», подлинные документы с грифом «Совершенно секретно» подпитывали мировую драматургию. Актуальный, публицистический театр шел по пути, проложенному в свое время постановками Эрвина Пискатора и Питера Брука .

Пьесы-монтажи, пьесы-расследования (о деле Оппенгеймера, например, об убийстве Кеннеди, о кубинском кризисе) стали настоящими шлягерами, потрясавшими сердца зрителей. Огромная взрывчатая сила была заключена в острой политической пьесе Петера Вейса «Дознание», которую сам автор назвал «поэмой-протоколом», или «диалектическим монтажом цитат». Написанная на основе судебного процесса над фашистскими палачами Освенцима, она сочетала документальное воспроизведение процесса с глубокими психологическими и философскими выводами.

«Сценическая форма основана исключительно на слове; она почти статична, – говорил П. Вейс. – Все построено на диалоге, и слово должно действовать с силой, достаточной для того, чтобы драматическое действие развивалось в столкновении вопросов и ответов».

Мы чувствовали убийственную силу этого материала, мечтали погрузиться в работу, но поднять этот замысел силами маломощного ТЮЗа было полнейшей утопией.

– Это могли бы сделать ребята из театра Шевченко, – сказал Беляцкий. – У них и денег побольше, и людей. А самое главное – ведь процесс, как ты говоришь, происхо-

дил в помещении театра имени Шевченко?

В разрушенном и превращенном в руины городе это было одно из немногих уцелевших зданий, где мог происходить публичный процесс. В самих стенограммах и в газетах того времени, освещавших ход суда, ни слова не было сказано о месте его проведения.

Мы отложили эту работу, занялись другими делами. Но Бог, видимо, услышал наши мечтания: совершенно неожиданно Беляцкий получил назначение на должность главного режиссера театра имени Шевченко.

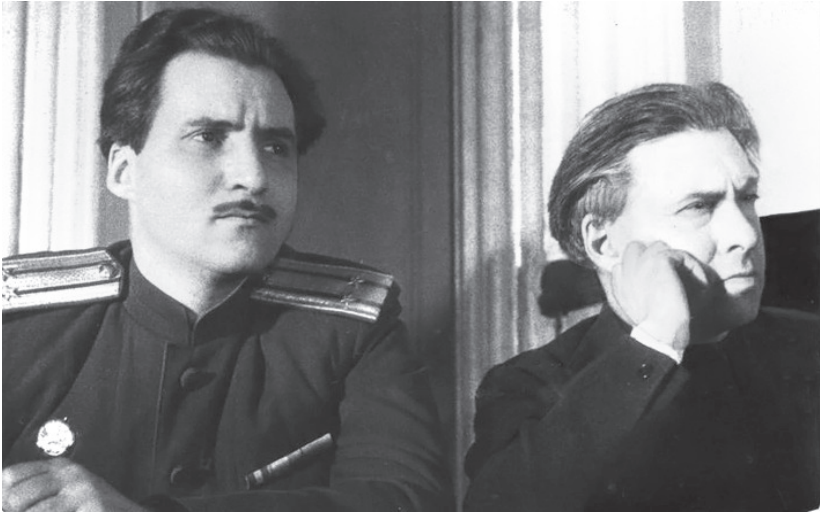
Путь к «Процессу» был открыт.

Работа над стенограммами претерпела ряд вариантов. По сути, было написано ч е т ы р е п ь е с ы.

Первая явилась именно монтажом фрагментов стенограмм в той последовательности, которая была в самом историческом документе. Мы тем самым как бы говорили зрителю: здесь ничего не выдуманно, все так, как было много лет тому назад на этой сцене.

Закончили, прочитали – неинтересно. «Проба на зуб» сразу же обнаружила фальшь. Мнимая подлинность сразу же разрушалась как только подсудимые заговорили не на немецком языке (как в жизни), а по-украински. В чтении сильнее бросалась в глаза невыстроенность драматургии – допросы каждого из военнопленных проводились по всему спектру предъявленных обвинений. Пьесу бросили в корзину, мыслительный процесс продолжался.

В стенограммах, при более внимательном чтении, обнаружили несколько главных, узловых моментов: расстрел мирных жителей села Подворки; пытки и убийства в гестапо; использование газового автомобиля (душегубки). Это позволило сконцентрировать действие, но повести ход пьесы по нарастающей мы не смогли.



К.Симонов и И.Эренбург на харьковском процессе

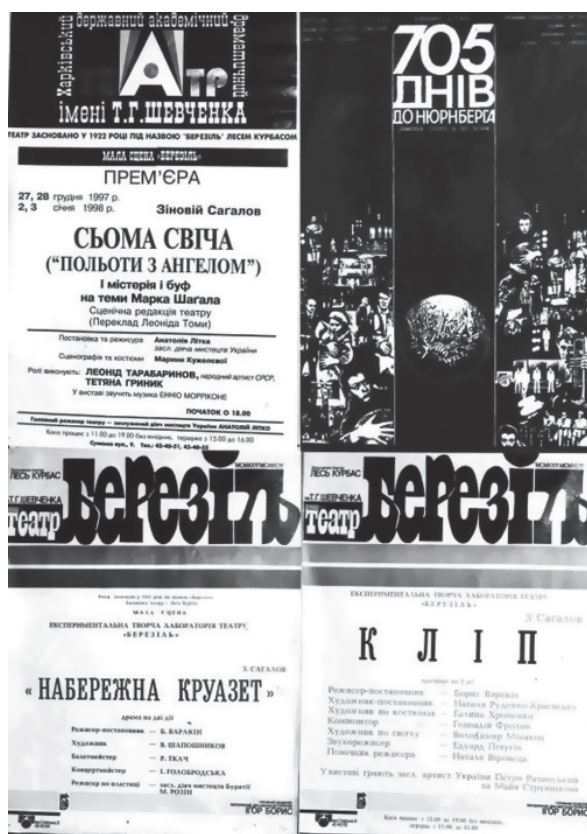
Третий вариант был основан на привлечении текстов писателей, освещавших харьковский процесс. Константин Симонов и Илья Эренбург, Леонид Леонов и Савва Дангулов в своих репортажах из Харькова в центральных газетах оставили нам блестящие по точности зарисовки поведения подсудимых, а также размышления о природе и возникновении фашизма. Но попытка ввести в пьесу обобщенную фигуру Ведущего тоже была отвергнута как формальная и лишенная плоти.

А что если Ведущий – шли мы дальше – не абстрактная фигура, а живой человек, который, как и мы с Сашей Беляцким, потрясен этим материалом и решил ставить спектакль в том театре, где все происходило тогда, в 1943 году? Театр в театре? Ну что же, пусть будет так, если этот прием позволит нам выстроить драматургию пьесы. Так появился Трубоч – не только автор и режиссер, ставящий этот спектакль, а Человек, имеющий свой личный счет к фашизму. Его детские годы прошли в оккупированном городе, он помнит,

как его мать, актрису этого театра, увезли в газовом автомобиле. Работая над спектаклем, Трубоч утверждает право человечества на судебный процесс против фашизма, чтобы это всемирное зло больше не повторилось. Его мысленная полемика с политиками, возражавшими против открытого процесса, воплощается в эпизоды будущего спектакля.

Этот вариант пьесы и стал окончательным. Оставалось придумать только название.

– А что тут голову ломать, – сказал Беляцкий.



На сцене театра им. Шевченко в разные годы было поставлено несколько моих пьес.

– Сколько оставалось дней до Нюрнбергского процесса?

– 705, – сказал я.

Такое своеобразное название и получила наша документальная драма – «705 дней до Нюрнберга».

Беляцкий прочитал ее худсовету театра, наш драматургический эксперимент был единодушно поддержан. Теперь предстояло получить «добро» обкома партии. Беляцкий отнес пьесу, потекли медленные гнетущие дни ожидания. Наконец, оттуда позвонили. Пошел «на ковер» Саша, а я как беспартийный остался дома в ожидании звонка. Зарубят или пропустят, быть или не быть? Сидел, окутанный сизым сигаретным дымом

Все партийные идеологи Харьковского обкома были выпестованы крайним ортодоксом А. Д. Скабой и отличались обостренным нюхом на все новое. Пьесы Вампилова, помню, с большим трудом, но все же вышли на сцены многих театров. Но в Харькове произведения этого автора были категорически запрещены. Даже из гастрольной афиши одного из российских театров была вычеркнута пьеса А. Вампилова «Последним летом в Чулимске». Так что и я, и Саша были готовы ко всему.

Итак, через три часа после того как мы расстались с Сашей у дверей обкома, он приехал ко мне и «под водочку с селедочкой» в лицах рассказал о своей встрече с «Мадам» (так между собой называли Людмилу Выск). Запомнились два ее «принципиальных» указания: не упоминать о массовом уничтожении харьковских евреев в декабре 1943 года и не обнажать выше колен работавшую в немецком борделе проститутку. Беляцкий дал клятвенное обещание, схватка на ковре была выиграна, началась работа.

Поскольку «Дело о газовом автомобиле» заняло большую часть пьесы, художник Т. Медведь расположила в глубине сцены этот зловещий автомобиль с фургоном, в котором

происходило удушение людей выхлопными газами. В одной из сцен эта чудовищная громадина выезжала на авансцену и слепила фарами зрительный зал.

Актер В.Высовень играл роль Буланова, шофера «газового автомобиля». Помню этот эпизод.

Взревел мотор мрачного монстра – «душегубки». Синим зловещим огнем в глубине сцены вспыхнули фары. Из кабины в свитере и сапогах, озираясь, выполз дебелий мужчина. Отодвинул засов железной двери фургона, вытащил из кузова тяжеленный мешок, взвалил его на плечи.

– Прожектор! – приказывает Трубач (Л.Тарабаринов). Яркий свет ослепил Мужчину в свитере. Закрыв лицо рукой, он пытается спрятаться. Спотыкается, роняет мешок. Из него вываливаются обувь, детские игрушки, одежда.

ТРУБАЧ. Ваша фамилия! Отвечайте!

БУЛАНОВ. Буланов моя фамилия. А что?

ТРУБАЧ. Вопросы задаю я. Имя, отчество.

БУЛАНОВ. Михаил Петрович...

ТРУБАЧ. Год рождения?

БУЛАНОВ. Тысяча девятьсот семнадцатый. А что?..

ТРУБАЧ. Вы работали в гестапо?

БУЛАНОВ. Понимаете, тут такое дело...

ТРУБАЧ. Да или нет?

БУЛАНОВ. Ну работал, работал..

ТРУБАЧ. Кем?

БУЛАНОВ. По специальности. Шофер я. А что?

ТРУБАЧ. На каких машинах?

БУЛАНОВ. Разные были... «Даймлер», «БМВ».

ТРУБАЧ. Меня интересует газовый автомобиль.

БУЛАНОВ (после паузы) Были у нас в гараже, были.

Из Германии прислали. В январе, в прошлом году.

ТРУБАЧ. Что из себя представляла эта машина?

Расскажите подробно.

БУЛАНОВ. Чистосердечное оформите?. (*Подходит к автофургону*). Значит так, пишите... Двухосный автомобиль. Тоннаж, примерно, пять-семь тонн. Мотор шестицилиндровый. (*Открывает дверь фургона*). Внутри обит оцинкованным железом. На дне кузова – решетка. Люди становятся на нее, понятно? А из выхлопной трубы через специальный шланг в кузов идет отработанный газ. Шофер сел в кабину, включил газ... И все... Вот придумали фрицы!..

ТРУБАЧ. Сколько же вам платили, Буланов, за вашу черную и подлую работу?

БУЛАНОВ. Девяносто рейхсмарок. Или девятьсот рублей по-нашему. Паек еще солдатский давали.

ТРУБАЧ. Что еще?

БУЛАНОВ. Вещи всякие, шмутье... То, что от людей оставалось. Пальто для жонки своей подобрал, себе костюм и сапоги... Все, что получше, немцы себе оставляли.

ТРУБАЧ. Достаточно, Буланов.

Буланов делает несколько шагов к скамье подсудимых, потом останавливается.

БУЛАНОВ. Мне срок дадут... или вышку? Я ж вам все рассказал, гражданин следователь. Не убивайте меня! (*Грохается на колени*).

Свет гаснет. Негромкая джазовая музыка. Радиокomentar студии «Си-Би-Эс Коламбия» ведет передачу о процессе в Харькове...

И далее идет следующий эпизод в США.

Из этого отрывка можно составить представление о том, как была построена пьеса. Несколько изменены тексты подсудимых, из воспоминаний и статей военных корреспондентов добавлено то, что не вошло в протоколы (например, ползание Буланова на коленях), показания даются не статич-

но, перед микрофоном, а мизансценированы как в театре, эпизоды суда перебиваются действием, происходящим в другом месте и в другое время.

Думаю, что читатель обратил внимание на роль Трубача. Две первые реплики из приведенного выше эпизода показывают, что этот персонаж существует как минимум в двух ипостасях.

«Прожектор!» – это команда режиссера театра, который ставит на сцене спектакль о судебном процессе. Вопросы «Ваша фамилия? Отвечайте!» – это уже вопрос прокурора или следователя. А несколькими эпизодами раньше Трубач после разговора с сыном говорит: «Ты мне дал идею... Я все переверну, я выстрою спектакль иначе... Этот процесс... Его надо ставить для тебя». Это уже размышляет автор спектакля, драматург и режиссер.

Эту особенность пьесы и спектакля тонко уловила критик И. Давыдова: «За калейдоскопическим движением отдельных эпизодов, сменой сцен чувствуется своя логика, закономерность – перед нами сама жизнь во всей ее сложности. Трубача мы воспринимаем не только как режиссера-постановщика, а как человека, имя которого – то Следователь, то Судья, то Прокурор, то Историк-исследователь, то Журналист. Каждый раз – другая личность, но всегда с четкой наступательной позицией... наполненная страстными чувствами, глубокими раздумьями».

Репетиции продолжались. В пошивочном цехе снимали мерку с артиста Б. МIRONENKO для серо-зеленого мундира капитана военной контрразведки Лангхельда, художник Татьяна Медведь следила за изготовлением страшной газовой машины (ее габариты были воспроизведены по макету душегубки в Харьковском историческом музее). Приближался день премьеры.

В напряженной тишине переполненного зрительного



Сцены из спектакля «705 дней до Нюрнберга». Слева : Мария -
з.а.Украины И.Кобзарь, Игорек, ее сын – М.Угольников.
Справа :Трубач – нар. арт. СССР Л. Тарабаринов.

зала открылся занавес, прозвучали первые слова. Я сидел в последнем ряду, Беляцкий где-то вблизи сцены. Договорились встретиться в антракте.

Закончился первый акт, зажегся свет в зале. Пробираюсь сквозь толпу зрителей, выходящую из зала в фойе. Внезапно меня останавливает пожилая женщина в зеленом шерстяном платье, с высокой красиво уложенной прической и строгим лицом классной дамы. (Как я потом узнал, она действительно оказалась педагогом).

– Извините, пожалуйста, вы автор пьесы? –спросила она.

– Один из двоих, – ответил я, улыбнувшись: приготовился, как мне казалось, выслушать первые комплименты.

– Почему вы обманываете зрителя? – сурово сдвинув брови, произнесла она .

Я растерянно глядел на нее, все еще по инерции улыбаясь, но эта улыбка, наверное, была уже жалкой и нелепой.

– Ваши артисты, – продолжала моя незнакомая обвини-

тельница, – то и дело говорят что здесь, в этом зале, происходил судебный процесс, на этой сцене сидели подсудимые, в этой ложе находились военные корреспонденты, здесь зарубежные представители и так далее... А ведь это неправда. Суд проходил не в театре Шевченко, а в старом Оперном театре, на Рымарской.

«Ах, вы об этом! – мысленно произнес я, радуясь, что готов к ответу и этим меня не сразишь – ведь немало времени было потрачено на доказательство того, что именно в театре имени Шевченко происходил судебный процесс.

Я отвел зеленую даму в сторонку, чтобы нам не мешала публика. Да, сказал я, ни в газетах, где печатались стенограммы судебного процесса, ни в репортажах писателей и корреспондентов не было указано, где происходил суд. Наверное, так требовала цензура военного времени. Но в послевоенных публикациях, например, в повести Александра Рекемчука «Нежный возраст», в воспоминаниях С. Дангулова, в публицистике Ю.Махненко прямо сказано, что местом проведения харьковского процесса был театр имени Шевченко...

Увы, моя эрудиция не сразила «классную даму». Она ответила мне одной фразой:

– Я сама была на этом процессе, девочкой, вместе с мамой.

И к этому я был готов. Беседовал с людьми, которые присутствовали на судебных заседаниях. Они четко помнили, что суд проходил именно в театре имени Шевченко.

– Ваши знакомые, – резко оборвала она меня, – просто забыли за давностью лет, где на самом деле был этот суд, и ввели вас в заблуждение. А вы обманываете сотни и тысячи людей. Вот я сейчас, перед вторым действием, выйду на сцену и объявлю зрителям, что в спектакле искажена историческая правда.

Назревал скандал – а ведь это было начало брежневской эпохи, пьеса прошла немало препон цензурного и партийного контроля, и в зале, в первых рядах, сидели бонзы из «Большого дома», и среди них «Мадам».

Надо было спасти спектакль. Не отпуская от себя зеленую даму, я принялся с горячностью стоящего на краю пропасти человека убеждать ее в том, что у нее нет никаких письменных доказательств «оперной» версии. Во-вторых, даже если процесс происходил в другом театре, то спектакль – художественное произведение, в котором возможны отступления от подлинных фактов. «Ведь если спектакль поедет на гастроли и будет показан на другой сцене, эти же слова останутся, и неужели зрители не поймут, что на самом деле суд происходил не в этом, а в другом театре? И даже в другом городе?»

– На какие гастроли! Его надо немедленно запретить!

С этими словами классная дама поспешно отошла от меня и, смешавшись с публикой, стала протискиваться к первым рядам.

Раздался первый звонок. Хлопали сиденья кресел – рассаживались зрители. Я смотрел на небольшую лесенку у левого портала, по которой можно было подняться на сцену. Выйдет или не выйдет? Прозвучал второй звонок... Чего они тянут? Звоните, звоните, ведь зеленое платье еще может выйти к рампе. Наконец, третий звонок, самый продолжительный и самый долгожданный. Гаснет свет в зале, спектакль продолжается.

На этом история с зеленой дамой вроде бы закончилась. Больше мы друг друга не видели. Очевидно, все-таки, мне удалось убедить ее. Впоследствии, когда театр показывал этот спектакль в Киеве и Кишиневе, никто из зрителей, как я и говорил, не понимал буквально слова актеров о том, что судебный процесс происходил в данном зале. Документаль-

ная правда и художественная правда не всегда тождественны.

И все же на этом, как бы мне ни хотелось, я не могу поставить точку. На одном из спектаклей ко мне подошел Леонид Каминский, тоже учившийся в свое время на отделении журналистики ХГУ. Сейчас он работал заведующим отделом областного издательства «Прапор». Обменялись общими фразами, потом он спросил:

– Не приходила ли тебе мысль сделать на этом материале книгу?

– Ты знаешь, не приходила, – честно признался я.

– А мог бы написать?

Секунду помедлил и сказал:

– Думаю, смог бы.

Собирая материал для книги, я случайно узнал, что в зале суда работала группа кинооператоров во главе с Романом Карменом. Значит, был снят фильм? Увидеть своими глазами, как это происходило! Я написал в Красногорск, в Государственный архив кинофотодокументов. Ответ был скор и радостен: да, такой фильм есть. Только снимал его не Р. Кармен, а другой, не менее известный наш кинодокументалист, лауреат Сталинской премии Илья Петрович Копалин.

И вот я в Красногорске, в небольшом просмотровом зале, где, сидя перед маленькими экранами, режиссеры кино и телевидения просматривают тысячи метров старой кинохроники. Сотрудница архива выдает мне пять круглых жестяных коробок картины «Суд идет», снятой Ильей Копалиным в те декабрьские дни сорок третьего года.

Заряжаю первую бобину, волнуясь, нажимаю не на те кнопки, но вот уже освоил нехитрую технику. Пошли кадры. За судейским столом усаживаются председатель во-

енного трибунала 4-го Украинского фронта генерал-майор юстиции А.Н.Мясников и члены трибунала – полковник юстиции М. А. Харчев и майор юстиции С. С. Запольский. Слева занимает свое место государственный обвинитель полковник юстиции Н.К.Дунаев.

Внизу, в партере, откуда вынесено несколько рядов кресел, скамья подсудимых. За барьером, охраняемые автоматчиками, сидят подсудимые. На маленьком экране я вижу сидящих в ложах прессы Алексея Толстого, который приехал освещать процесс в качестве корреспондента «Правды», молодого Леонида Леонова, представлявшего газету «Известия». От «Красной звезды» прибыли на процесс Илья Эренбург и подполковник Константин Симонов, от «Комсомолки» Елена Кононенко.

Но глядяваюсь я не только в их лица. Декоративная лепка балконов и лож, кариатиды в виде женских скульптур, поддерживающие балкон верхнего яруса, весь интерьер убеждают меня в правоте зеленой дамы. Да, это Оперный театр! Но ведь и Александр Рекемчук, и Савва Дангулов пишут, что процесс происходил в драматическом театре. Не мог я усомниться и в словах моих знакомых, которые так же подтверждали этот факт. В чем же дело, на чьей стороне правота?

Разгадка пришла случайно. Я подбирал материалы для статьи о последних предвоенных гастролях театра Михозлса. Они проходили в Харькове в июне 1941 года на двух сценических площадках – в Доме Красной армии им. Ворошилова и в Театре русской драмы на Рымарской 21.

Вот оно, в чем дело! Мне стало понятно, как произошла ошибка. Перед войной для Театра Оперы и балета было построено новое здание в рабочем районе города, на проспекте имени Сталина. А здание старого Оперного театра было отдано Харьковскому театру русской драмы. Как же я мог

это забыть – ведь именно туда водила меня мама на «Снежную королеву»! Во время войны новый Оперный театр был разрушен. Впоследствии, после его восстановления, он стал Дворцом культуры Электромеханического завода (ДК ХЭМЗ). А Театр Оперы и балета снова занял свое помещение на Рымарской 21. Свои находки я передал комиссии, которая занималась обоснованием открытия мемориальной доски, посвященной процессу.

Историческая правда была восстановлена в августе 2000 года, когда на фасаде бывшего Оперного театра на Рымарской (теперь уже ставшего Областной филармонией) была установлена на средства областного комитета «Дробицкий Яр» мемориальная доска о проходившем здесь первом судебном процессе над нацистами. Торжественное открытие ее, в котором и мне была оказана честь принять участие, состоялось 4 августа 2000 года.

ОТ ГВАРДИИ ЕФРЕЙТОРА ДО ГЕНЕРАЛА



Борис Табаровский

Часто из сумятицы сновидений вытекают знакомые улицы, дома, лица. Харьковские странички бытия невозможно забыть. Как молодость, когда жизнь еще беспредельна и вечна. Когда круг друзей еще полон и без выбоин. Когда у каждого только одна дата, рождение, а та, что после тире, еще далеко-далеко...

В 2004 году скончался Борис Моисеевич Табаровский. За пару лет до кончины, уйдя из театра,

где прослужил практически всю свою долгую жизнь, он записывал в тетраточку то, что сберегла память. Не о спектаклях, не о десятках сыгранных ролей. Он писал о войне. Бесхитростные фронтовые были опубликовал киевский журнал «Радуга». О своей театральной жизни он рассказать не успел. А может быть, и не хотел, будучи от природы негромким, лишенным обычной актерской рисовки человеком.

Вот мы сидим у него, курим, смотрим программу «Время». Война – то ли чеченская, то ли афганская. Не своя, слава Богу, чужая. Но от этого разве легче? Разве «чужая» менее ужасна и страшна? С рычащими в небе чудовищными птеродактилями, с рухнувшими в бездну мостами, с беженцами на повозках, с осиротевшими, искалеченными детьми...

Искося поглядываю на Бориса и понимаю: старый солдат глядит на войну прищуренными, все повидавшими глазами своей памяти. Из того, может быть, саморойного окопчика, где принял свой первый бой вчерашний десятиклассник в серой солдатской шинели. Или из того, пронизанного майским солнцем утра, когда в госпиталь польского городка Воломин ворвалось, как шаровая молния, обжигающее всех слово «Победа!» И когда все – и ходячие в окровавленных бинтах, и «костыльники» – высыпали на улицу, обнимались, плакали, ошалело палили в небо. И среди них был тогда и он – гвардии ефрейтор разведроты Борис Табаровский. С тремя осколками вражеской гранаты в теле – навсегда оставшимися незаживающей памятью о войне.

В том небольшом кружке близких друзей, среди которых Борис обычно проводил досуг, минувшая война, по неписанной заповеди «шестидесятников», всегда была словом высоким, камертоном сегодняшних мыслей и поступков. Можно было спародировать шамкающую речь генсека, рассказать анекдот о верховном главнокомандующем, поиздеваться над местным партапаратчиком. Но тема войны была

святой, бескомпромиссной, с ней полагалось даже в подпитии не ерничать, обращаясь только на «Вы».

...После демобилизации он поступил в Театральный институт и уже на втором курсе, еще студентом, вышел на сцену Харьковского театра русской драмы. Здесь за полвека рыцарского служения искусству создал он более сотни разных, подчас неожиданных для его актерского амплуа образов. Чеховский Гаев и шеф гестапо Мюллер, нарком Луначарский и карьерист-ученый Брызгалов, мясник Лейзер-Вольф Шолом-Алейхема и убогий Карандышев Островского. О каждой его роли театроведами написано немало восторженных слов. Я скажу лишь о нескольких его работах, к которым так или иначе был причастен.

Немногие харьковчане, наверное, помнят блистательный спектакль «Карьера Артуро Уи» по Бертольту Брехту. Шестидесятые годы – по стране еще гуляет свежий ветерок хрущевской оттепели. Театром русской драмы руководит впервые, наверное, в его долгой истории режиссер с «пятой графой» Семен Лерман. И, представьте себе, в качестве очередной пьесы он выбирает не Погодина или Софронова, а бунтаря и возмутителя спокойствия Бертольта Брехта. Куда смотрел Харьковский обком, разрешая эту постановку? Наверное, партийные умы были заняты уборкой сахарной свеклы, проморгали голубчики явную крамолу.

Не берусь точно утверждать, но по всей вероятности выбор именно этой пьесы (почему, например, не повторить «Доброго человека из Сычуана», которым только что открылся Театр на Таганке?) был обусловлен тем, что в театре был актер, способный сыграть Артуро Уи – сложнейшую роль мирового репертуара – Борис Табаровский. «Карьера» – пьеса-притча, написанная с намерением анатомировать омерзительную, античеловеческую природу фашизма. «Великих исторических преступников непременно следу-

ет выставлять на всеобщее обозрение, и прежде всего на посмеяние», – писал Брехт, и этим, я думаю, руководствовался режиссер, создавая гротескное, остросатирическое действо. Под маской чикагского гангстера Уи явно просвечивали черты подлинного кровавого убийцы Гитлера.

Мне как автору текстов зонгов к спектаклю посчастливилось присутствовать на нескольких репетициях. В двубортном коричневом костюме, с косой челкой на лбу Табаровский был узнаваемо похож на бесноватого фюрера. И, вместе с тем, на огромную марионетку – резкие нелепые движения, при каждом шаге пиджак болтался на нем, как на вешалке. Особый, не свойственный Борису голос, переходящий в истерический визг.

Помню сцену, когда рвущийся в большую политику гангстер берет уроки у провинциального актера. Тот командует: «Откиньте голову», «Ногу ставить так, чтобы сначала коснуться пола носком». «Превосходно, у вас природные данные. Вот только с руками вы еще не знаете, что делать. Они не гнутся. Лучше всего сложите их перед детородным органом».

Старательно повторяя за «Актером» позы и жесты «высокого штиля», ничтожество превращается в вождя. На глазах происходит метаморфоза – из невзрачной личины рождается чудовище. Страшное, подлое, обретшее неограниченную власть над толпой.

**Есть револьвер и у других людей.
Но нет у них такой железной веры,
Которую должны иметь вожди.
Вот почему должны вы верить, верить
В меня, – без всяких рассуждений, верить,
Что я хочу вам блага и что знаю,
В чем это благо...**

(перевод Е.Эткинда)

Обидно, что этот великолепный спектакль, первоприсестствие Брехта на украинскую сцену, просуществовал недолго. В обкоме все-таки опомнились: свекла-свеклой, а бдеть надо. Ведь спектакль был двухстволкой, которая разила тоталитаризм и гитлеровский, и советский. Мне кажется, что это была лучшая актерская работа Бориса Табаровского. Я просил у него фото для статьи. Он долго рылся в архиве, нашел один снимок, да и то не пригодный для воспроизведения.

Когда я работал в театре юного зрителя, понадобилось для одного из спектаклей записать песню – реквием памяти погибших на войне. Требовалась предельная искренность, задушевность. Среди тюзовцев, к сожалению, такого исполнителя не нашлось. Нарушив корпоративно-цеховой закон, режиссер спектакля Л. Хаит обратился к артисту другого театра. Табаровский был крайне удивлен – ни в жизни, ни на сцене он никогда не пел. «А мы попробуем, авось получится, – уговаривал его режиссер. – Петть не надо, ты просто слушай музыку и размышляй вслух».

И он запел, тихо и горестно, песню нашего общего друга Марка Карминского на стихи Вадима Шефнера, которой открывался наш спектакль «Последние письма».

**Не танцуйте сегодня, не пойте
В предвечерний задумчивый час.
Молчаливо у окон постоите,
Помяните ушедших за нас...**

Памятной была встреча с Борисом Табаровским в телевизионном спектакле «Как на войне». (Помимо своих театральных работ он многое успел сделать и на Харьковской телестудии как актер и режиссер). А этот спектакль совер-

шенно неожиданно сыграл немаловажную роль в его актерской судьбе.

Телевизионная пьеса «Как на войне» была написана мною по мотивам повести украинского писателя Юрия Щербака. Действие ее происходило в мирное время, но название очень точно отражало предельную напряженность ситуации.

Институт микробиологии. Группа ученых работает над изучением смертоносного вируса. Но из-за обрыва силового кабеля выходит из строя откачивающий насос, губительные бактерии заполняют помещение лаборатории. Пятеро научных работников оказываются в западне. Останутся ли они в живых?

(Об авторе повести мне было известно только, что он микробиолог, доктор наук, что это первый его литературный опыт. Много позже, когда Ю.Щербак, уже к тому времени маститый писатель, приехал на премьеру своего спектакля в Харьков, мы с ним познакомились. « Меня крепко долбали за эту повесть, обвиняя в упадочничестве, искажении образов советских ученых и прочих грехах, – вспоминал Юрий Николаевич. – Так что харьковская постановка, которая к тому же была показана потом и на Центральном телевидении, помогла мне обороняться от нападков чиновников и критиков»).

Режиссер спектакля Галина Ильинична Дергачева, страстная поклонница таланта Б. Табаровского («Он ведь такой киношный, такой достоверный!»), сразу же предложила ему главную роль – руководителя лаборатории. Каково же было ее удивление, когда, дочитав сценарий, артист сделал заявку на другой образ – научного сотрудника Ордынцева. «Галя, пойми, это мое, сказал он. – Типчик забавный, я уже вижу, как его можно сделать».

Он никогда не гнался за первыми, громкими ролями.

Искал близкое, родственное душе. Больше всего любил сочетание смешного с грустным, комедии с драмой. В этих ролях ему не было равных на харьковской сцене.

Актерское чутье не подвело артиста и на сей раз. Жорка Ордынцев, слышавший у институтского начальства циником и выпивохой, стал в исполнении Бориса Табаровского самой, пожалуй, запоминающейся фигурой телеспектакля. Не зная об аварии, он случайно оказывается в лаборатории и по-своему, в стиле «черного юмора», выражает свое сочувствие приговоренным к смерти ученым: «Жаль, конечно, теперь местком разорится: венки, духовой оркестр... Ну ничего, ребята, не унывайте. Ведь что такое смерть? Переход от одной формы материи к другой. Каждый день на земле умирает сто тысяч человек... Вы бы хоть граммов сто налили...» Но это – маска, игра, лицедейство. На самом же деле именно он, Георгий Ордынцев, ценой собственной жизни спасает пятерых «узников».

Спектакль этот, показанный ЦТ, смотрели миллионы телезрителей. Среди них, как оказалось, был и Виктор Трегубович, ленинградский режиссер, который как раз готовился к съемкам фильма с похожим названием – «На войне, как на войне». В основе этого сценария лежала повесть Василия Курочкина, события которой действительно происходили на фронте. Увидя в телепрограммке схожее название, Трегубович «сделал стойку» – не опередило ли его харьковское телевидение. И потому он и его коллеги смотрели наш спектакль.

Трегубович сразу же оценил актерское мастерство Табаровского. Что было далее – понятно. Кино – волшебная страна, где ничего невозможного нет. И через несколько дней Борис Моисеевич Табаровский, облачившись в комбинезон танкиста, стоял перед камерой в одном из павильонов прославленного «Ленфильма».

– Дайте профиль! – командует Трегубович.

– Вообще-то мой профиль режиссеры всегда норовили спрятать, – иронично, с намеком отвечает артист.

– А я режиссер-новатор, извольте профиль!

Пробы окончились. Табаровский улетел в Харьков, ни на что особенно не надеясь. Рад был уже тому, что прокатился в Питер. Жаль, что и говорить, если не утвердят – роль неплохая. Но претендентов много, возьмут, скорее всего, ленинградца, меньше хлопот. А через недельку звонок от ассистента режиссера: «Вы утверждены на роль лейтенанта Беззубцева».

Четыре месяца продолжались съемки в буковинских лесах. Тут война была почти настоящая. Подлинные самоходки и танки. Рев моторов, грохот взрывов. Но Трегубовича прежде всего интересовали не батальные сцены, не «железо», а человек. А кому же солдатский быт был известен лучше, чем тому, кто сам прошагал сотни километров огненных фронтовых дорог? И ефрейтор Табаровский подбрасывал немало точных штришков и деталек постановщику.

– В каком году были съемки? – спрашиваю я Бориса.

– Этого никогда не забыть: 1968 год, вторжение в Чехословакию. В небе над нами то и дело проносились «миги», шли на Запад танки и «бэтээры». Мы были подавлены, работа валилась из рук. Стыд был за державу: здоровенный громила напал на маленького. А ленинградцы – те уже тогда раскованными были – не боясь, открыто материли «вдохновителей и организаторов» этого нового «аншлюса».

Приехал домой после съемок – будто второй раз демобилизовался. Но лишь на время. Александр Сергеевич Барсегян, главный режиссер театра, вновь «призвал» артиста на воинскую службу. На сей раз Табаровскому предстояло стать генералом в спектакле «Последнее лето» по роману

К. Симонова. В театре шутили: «Хорошая карьера, Борис Моисеевич – от ефрейтора до генерала!»

Генерала Львова он сыграл превосходно. Об этом говорил сам Константин Симонов.

Что же касается меня, то ефрейтор Гитлер у ефрейтора Табаровского мне запомнился куда больше.

В АНТРАКТЕ

ИЗ ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Почти быль

Оттолкнувшись от подоконника, он сиганул в ночную холодную синь. Миллионы звезд не завораживали, он их просто не замечал. Лежал лицом вниз, укутавшись от вселенской холодины в толстый овчинный тулуп. Главное для него было внизу – в россыпи электрических огоньков, плывущих под ним в бездонной пустоте. Они прятались от него, беззаботно перемигивались, умышленно прикрываясь щитами крыш и шапками деревьев. Старались всячески сбить с курса.

Значит, догадывались, что сегодня в ночном полете не просто Юлий Адамович Хворостыльский, сам по себе, а весь возглавляемый им городской молодежный театр «Жаворонок», летящий как огромный воздушный корабль мести над этим окаянными неблагодарным, сияющим в электрической роскоши огней городом. И на лице Юлия Адамовича – видели бы они его оттуда! – не обычная вымученная улыбочка, к которой приходилось понуждать себя пред сильными мира сего. А зло, по-бойцовски склепанные зубы и ходящие под скулами железные желваки. Ибо хватит угодливости и смехуечков, заездили, замаяли, господа, своими обещанками. Баста, пришел час X. Лечу на выполнение боевого задания. С полным боекомплектom авиабомб.

Первую – на черта лысого, Аркашку Дубосарского. Полтеатра оттяпал, гнида. За бабло, разумеется, и немалое. Мэру в потные ручки аккуратно положил. А тот автографом расчеркнулся где надо. И нет уже у театра малой сцены, ушло фойе с ампириными колоннами, памятник истории, между прочим, XVIII век. Считай, полтеатра отхватил лысый хитрован. Фотографии портретные со стен снимали, а где их вешать, никто не знает. Зрителей теперь тесным ходом из предбанника прямо в зал ведут. А что тем, нехристям? Выломали стенку, раздвижные двери с голыми девками на розовых стеклах вставили – и, пожалуйста, рядом с храмом, коим должен быть театр, светится дрыгающими буквами кабаре «Четыре совы».

Так, Адамыч, не отвлекаться. Штурвал от себя, пошел на снижение.

К окнам прилипли актеры, пьют восхищенными глазами черноту звездной ночи. С замиранием ждут. Не обычный все же полет. Не к родичам из какого-нибудь Николаева в какой-нибудь Житомир. Не с ремнями безопасности и стюардессами с аэрофлотскими бутербродиками. Знали все: ночной полет, бомбардировка!

– Вижу цель, – докладывает заслуженный артист Синецкий, он же сегодня штурман. Сухо, по-военному.

– Повесь фонарь, – командует главный.

Вспыхнула за бортом световая авиабомба, озарила мигом крышу Аркашкиного особняка, затаившегося в густой липовой роще.

Самолет-театр вошел в пике. Штурман Синецкий выжидательно положил палец на кнопку.

– Сброс! – скомандовал четко Юлий Адамович, играя спецназовскими желваками.

Фугас крупного калибра сорвался тут же. За ним, свистя, другой.

Взрыв пламени, невероятный грохот внизу, под самым театром, и дым черными густыми клубами. Ударной звуковой волной воздушный корабль шатнуло с борта на борт и чуть отнесло в сторону. Едва не попадали артисты, похватавшиеся друг за дружку. Они ликовали :

- Ура! За наши слезы!
- За голубой зал!
- Смерть оккупантам!

Один только Пышкин, актер второй категории, уединенно сидел у окна в порепанном до самых пружин кресле и не принимал участия в общем воинственном возбуждении. Казалось даже, он осуждал происходящее, ибо вызывающе выпячивал томные губки и чмокал ими, листая в отрешении от текущего момента страницы журнала «Следопыт».

А Юлий Адамович, главный режиссер и руководитель полета, развернувшись на семь градусов, набирал высоту и держал курс на северо-запад, уже на другой объект, «Бойлербанк». Громить его тоже было за что. Полтора года обещали его совладельцы, Бойко и Лернер, выдать беспроцентный кредит на ремонт зала, на импортную звуко- и светотехнику. Юлий Адамович старательно и с неугасающей тогда еще улыбкой водил по театру и одного, и другого мерзавца, показывал примерки с облупленной штукатуркой и ядовито цветущей на стенах плесенью, ржавые колена канализации в душевых, затягивал даже обоих олигархов на чердак, где между стропилами запросто зияло небо.

И Бойко, и Лернер, стряхивая с плеч от Версаччи известковую пыль, синхронно кивали якобы удрученными головами, сердечно как бы сочувствовали обнищавшему театру. Ведь они и сами, как оказалось, Бойко и Лернер, не сразу стали банкирами, а тоже в свое время были детишками. И их, мальчуганов, представьте себе, водили дружным классом на «Снежную королеву» именно сюда, в этот славный театр, и они плакали стыдливymi пацаньими слезами над судьбой мальчика по имени Гай или Май, и просто их долг, даже не просите, Юлий Адамович, это, если хотите, их святая обязанность помочь театру «Жаворонок».

Их сладкие упоительные речи с прижиманием рук к честной груди не оставляли сомнений. Юлий Адамович растилал в их кабинетах глянцевые листы каталогов фирмы «Adler», вместе с ними ставил галочки против нужных позиций лазерной светотехники, так необходимой для создания волшебных сказочных чудес. А в результате оказалось, что

оба денежных мешка просто водили за нос доверчивого и несведущего в бизнес-играх режиссера Ю.А. Хворостыльского. И за это труппа, посвященная в эти переговоры, единодушно, при одном воздержавшемся Пышкине, внесла обоих брехунов в черный реестр ночной карательной бомбардировки.

«Бойлербанк» располагался на берегу реки. Из ночных облаков на высоте 2500 метров цель еще не просматривалась. Надо было снижаться. К тому же стало зябко, до костей продирали холод. Стучали зубы и прекратили свою воинственную игру желваки. Стоявший рядом с Юлием Адамовичем ночной сторож Кукушкин, тоже почему-то увязавшийся вместе с театром на бомбежку, то и дело поправлял на главном сползающий тулуп, по-отцовски укутывал его заботливыми стариковскими руками.

Юлий Адамович резко отдал штурвал от себя. Бортовой высотомер замельтешил цифрами: 2000... 1800... 1600... 1300... Вырвались из облаков и в лунном свете сверкнули внизу стальные осколки реки, перехваченные мостом. Главный подозвал штурмана Синицкого.

– Бомбить с умом, – громко, перекрикивая гул мотора, крикнул он. – Отвечаешь головой.

Штурман понимающе кивнул: новый мост, стальной ажурный красавец, связывал обе части города. Бомбить «Бройлербанк» надо было с соблюдением клятвы Гиппократа: «Не навреди!»

В бомбоотсеке оставались две стокилограммовых малышки. Синицкий доложил главному.

– Одну! – приказал тот и зашел в пике.

Световая бомба вырвала из ночной тьмы гордый фасад банка. Ряды его мигом ослепленных окон, коротко вспыхнув, тихо и покорно угасали в предсмертном сиянии падающего света. Смертельный фугас, мягко сорвавшись с держателей, летел к цели.

Здание рухнуло сразу, обвалилось стенами, объятые дымом и пламенем. Артисты, взобравшись на подоконники, сияли как дети на утреннике, обливая слезами радости друг друга. Зрелище завораживало, как извержение Везувия.

Главный рванул штурвал на себя, театр стал набирать высоту. Последняя оставшаяся бомба не отпускала разгоревшиеся сердца .

– На мэра! – в ажиотаже закричал артист Синицкий. Нажимать смертоносную спусковую кнопку было куда интереснее, чем шамкать за царя Гвидона. С энтузиастическим подъемом, прокашлявшись, он запел для воодушевления коллектива. Баритон его гремел на весь театр:

Мы летим, ковыляя во мгле,
Мы идем на последнем крыле,
Бак пробит, хвост горит,
И машина летит
На честном слове и на одном крыле.

Это была песня американских летчиков, которую разучивали к спектаклю «Волшебник Изумрудного города». Актеры радостно подхватили :

Ну дела! Ночь была!
Все объекты разбомбили мы дотла!

Мы ушли, ковыляя во мгле,
Мы к родной подлетаем земле,
Вся команда цела,
И машина пришла
На честном слове и на одном крыле.

Пели все, забравшись на стулья, на подоконники. Только актер второй категории Пышкин не принимал участия в общем победном хоре. Ирка Лебядина, травести, возмущенно вырвала из его рук журнал «Следопыт», выпалила ядовитой скороговоркой:

– Наша Пышечка не в голосе сегодня, да? Журнальчики почитываешь, а люди за театр бьются. – И уже с прокурорской непримиримостью:

– Опять против коллектива прешь, Пышкин!

– Гнать его, по шеям!– неистово выкрикнул кто-то.

– Скинуть без парашюта!

Народ зашумел, заволновался, обнаружив предателя в своих сплоченных рядах. Обступил в праведном гневе его кресло, явно готовясь к рукоприкладству.

Актер же Пышкин неспеша встал, поднял с пола журнал «Следопыт», отряхнул от него пыль и сказал:

– Скидывайте. Только у нас сегодня выездной спектакль в Гракове. А кто, извините, женихов выбирать будет? Вы? Или вы?

И он победно засмеялся тонким заученным смехом купеческой дочери, разборчивой невесты Агафьи Тихоновны из «Женитьбы» Гоголя, поставленной с модерновыми вывертами великим экспериментатором Юлием Адамовичем. И привстал даже на цыпочки. И попку при этом отставил стульчиком, что очень нравилось публике. И всем сразу стало ясно, что выбрасывать за борт исполнителя главной роли, конечно, неразумно.

– Кончайте базар! – крикнул Сеницкий, поглаживая спуск нетерпеливыми пальцами. – На мэра, так на мэра!

– Не успеем, – огорченным голосом сказала Вера Игнатьевна Кузькина. – Граково мы сорвать не можем. Грохнем мэра в следующий раз.

Кузькина служила в театре «Жаворонок» всю свою долгую жизнь, увенчанную в прошлом году ветеранской медалью. И ее веское слово дорогого стоило.

– На доске выездной значится, это точно, – подтвердил ночной сторож Кукушкин, склонившись к уху главного.

– «Женитьба», Юлий Адамович. Берите курс на Граково.

– На Граково! Нельзя срывать! – загомонили актеры..!

Мысленно главный согласился с труппой. При нынешнем положении не отыграть выездной было бы преступно. Он положил ладонь на штурвал, сжал пальцы, но вдруг ощутил в них только неосязаемую пустоту. Несколько раз он сжимал и разжимал кулак. Рычаги управления, циферблаты приборов исчезли.

«Что за дурь?» – мелькнуло в голове. Замутилась, исчезла из видимости роскошная панорама мигающих земных огней, все затянуло сплошной непроглядной тьмой.

Навалилась муть, стало тяжело дышать. Кто-то (вероятно, не отходящий от главного Кукушкин) старательно вытирал пот на его воспалившемся лице. Юлий Адамович пытался позвать артиста Синицкого, но крик не вырвался из его рта, застрял поперек горла тяжелым от ужаса комом. К счастью, штурман сам подскочил к главному, положил успокаивающую руку на его плечо. Глаза его были ясны и строги.

– Все под контролем, Юлий Адамович. Летим на автопилоте.

«Вот молодцом! Выручил!» – проскочило радостной молнией в тяжелой голове Хворостыльского. Но в своей бессловесной немоте он мог лишь облегченно улыбнуться и мысленно выписать артисту Синицкому квартальную премию. Он с облегчением перевернулся, устремив глаза наверх, где по всем правилам должно было быть небо в алмазных чеховских звездах.

Что-то действительно опрокинулось над ним, но это было не небо. Нечто огромное, без звезд, закрывшее собой всю видимость. Напрягши зрение, Юлий Адамович различил седые, подкуренные махоркой усы (они нависали прямо над его ртом), а из черной железной оправы беспокойно глядели на него суетливые глазки. Это было лицом, человеческим лицом, и лицо это было жутко знакомым.

– Ну что? – произнесло оно сиплым сдавленным голосом. И когда еще при этом шмыгнуло носом, дернув из стороны в сторону ноздрями, Юлий Адамович осознал, что перед ним сторож Кукушкин, участник ночного бомбардировочного полета. И следовательно, посадка выполнена благополучно.

– Все живы? – осведомился Юлий Адамович озабоченным голосом.

– Все, все, а куда им деться, – усмехнулся сторож. – Поднимайтесь, Адамыч, я вам подсоблю.

С помощью Кукушкина Юлий Адамович выпростал руки из бараньего тулупа, который был на нем во время ночного полета, ощутив только сейчас его прокисшую вонь, и принял сидячее положение. К своему удивлению, без тулупа он был совершенно голым. «То-то меня там до костей про-

шибало» – поежился Юлий Адамович. – «Какой же мудила меня готовил к полету?»

– Как самочувствие, Адамыч? – ласково произнес Кукушкин. – Сейчас оденемся, галстучек приспособим, надраим туфельки и – айда, в Граково. Точно? Разрешите поухаживать за вами.

Тут только, вопросительно оглядевшись, Юлий Адамович увидел себя в хаосе недописанных холстов, заляпанных красками листов картона, обрывков тюля и старых декораций. Увидел и искренне поразился. «Какого черта занесло меня сюда? Это же наш декораторский цех» – туго шатались мысли в его уставшей от ночной бомбардировки голове. Сторож Кукушкин тем временем надевал на него парадный костюм, сшитый театральным портным Семой Хаскиным из коричневой шелковистой шерсти, привезенной его племянником из Израиля, и повязал крупным узлом оранжевый в полосу галстук.

– Таперича вы молодцом, Адамыч. Можно и народу показаться, – удовлетворенный своей работой, шмыгнул ноздрями Кукушкин.

– Актеры все явились? – строго вскинув бровь, спросил главный.

– Все собрались, вся «Женитьба». Внизу дожидаются.

– Так... – задумчиво произнес Юлий Адамович. – Синицкого Мишу видел?

– Так точно.

– Пышкин?

– Сидит, журнальчик читает, ждет.

– «Следопыт», что ли?

– А Бог его знает, может, и «Следопыт».

– Кузькина Вера? Тоже здесь?

– Все явились. И Виталька, водила, и вся монтировка, и Жорка осветитель, тверезый, вроде. Тебя ждут, Адамыч. (В особо доверительные мгновения, чувствуя свою нужность и приближенность к главному, Кукушкин позволял себе, будучи один на один, употреблять товарищеское «ты»). Прознали, Адамыч, что ты здесь ховаешься, рвались сюда, все двери издергали, опаздываем, опаздываем кричат, буди главного! А для меня ваш сонный отдых превыше всего.

– А как же все-таки... – произнес Юлий Адамович и сделал конфузливую паузу, не закончив мучавшего его вопроса. Он полагался всецело на догадливость ночного сторожа. При этом, для более точной ориентировки прошелся недоумевающим взглядом по обшарпанным стенам декораторского цеха и многозначительно остановил его на своем ночном ложе – оно было составлено из четырех стульев с разложенным на них бараньим тулупом.

Понятливый Кукушкин ответил на произнесенный вопрос.

– Я, я приспособил. А что, здорово? Перенести в кабинет вас я не мог, Адамыч, по причине возраста и хилости своей. Тело-то у вас изрядное. Извините, коли что не так... Расположил здесь. А сон у вас был, скажу вам, прислушавшись, прямо гвардейский. Кричали вы всю ночь, бомбы кидали в кого-то... Или почудилось мне... Возбудил вас, видать, этот самый...

– Кто?

– Да мэр наш городской.

– Ну, ну... – оживился Юлий Адамович. – Давай, не тяни.

– Показывали вы ему театр, что от него осталось. Ну и сюда завели, к художникам. А тут мы с Машкой-буфетчицей по вашему предупреждению столик организовали. И оставили с этим городским мэром один на один...

– Ну, чего замолчал? – спросил нетерпеливо Хворостыльский. – Дальше-то что было?

– Поругались вы. Матом он вас, а вы его двойным. За театр, за деньги, за то, что фойе оттяпал для «Совы», чтоб ей сдохнуть! Ну, он за дверь...

– А я что?

– С горя приложились малехо. А потом вырубилесь начисто. Куда ж, думаю, его, то-есть вас, отправлять в таком недостаточном виде. Костюмчик ваш на тремпелек повесил, аккуратно, вы же при полном параде начальство встречали. И расположить пришлось тут, самодельно. А вообще-то надо для будущих дел сюда диванчик или тахтушку старую прикупить. На стулках оно ж негоже.

В дверь кто-то стукнул – раз, другой.

– Видите, рвется кто-то... Открыть, Адамыч? А?

Хворостыльский кивнул. Кукушкин отпер замок.

В дверь мощным боком втиснулся Виталий, водила. Уважительно стянул замасленную шоферскую кепчонку:

– В танковых частях полный порядок, Адамыч. Промудохался все утро с двигуном, но теперь, мать честная, хошь на Хряково, хошь на Сраково! Когда прикажете подать?

Хворостыльский привычно глянул на руку, часов не было.

Кукушкин нашарил в тулупе, нашел юбилейные золотые часики главного, старательно протер рукавом циферблат и протянул их Юлию Адамовичу.

Главный раздумывал, держа томительную паузу.

– Через десять минут едем, – сказал он.

Виталька развернулся и вышел. А Юлий Адамович, проводив его беспокойным взглядом, опустил на стул. Пытался надеть часы, но не смог. Силы покинули его. После мучительной ночной бомбежки опять ехать куда-то? Он себя не щадит, живет на разрыв аорты. Этот чертов театр погубит его.

Кукушкин с осознанной тревогой смотрел на главного. Лицо того стало бледным и томным, как бы упавшим в глубокое обморочное состояние. Сидел, вертя часики в слабой руке. Веки его упали. Он спал.

Что оставалось делать бывшему фронтовику и сознательному члену коллектива театра сторожу Кукушкину? Он начал немедленно действовать. Причем быстро и решительно. И с полным пониманием боевой обстановки.

Загашный шкафчик художников – рраз! Початая поллитровка – два! Пара обшелушившихся луковиц – три и четыре! Шматок сала – пять! Лист ватмана на табуретку – шесть! Два стакана – семь, восемь! И милости просим! То, что нужно на данный момент. Чтоб собраться, сгруппироваться и ни в коем разе не уронить себя. Только луковицы долой, лишние они – изо рта такого человека вонять не положено!

И ровно через десять минут из декораторского цеха вышел безукоризненно свежий, с треугольным платочком в нагрудном кармане заслуженный деятель искусств главный режиссер театра «Жаворонок» Юрий Адамович Хворостыльский.

Харьков.
Мозаика сороковых



Т Л О М Б А

Слово «война», помню, ворвалось в нашу дачную жизнь откуда-то из тенистой глубины сада. Там, в конце жердяной изгороди, отделявшей нас от живущих рядом Егоянов, валялось в зарослях крапивы несколько выпавших кольев. Именно оттуда бежал сосед Сергей Артемович с этим страшным словом на трясущихся губах:

– Война! Только что!... Война!

И вмиг сломалось ласковое солнечное утро. Застыла, оцепенев, моя рука с ложкой пахучей клубники в сметане. Закончились неспешные прогулки на пруд, полуденный сон в гамаке, жмурки и прочая никому уже не нужная дребедень. Главным стал висящий на стене веранды самодовольно-круглый диск репродуктора, не выключавшийся теперь ни днем, ни ночью. Ни о чем хорошем он нам не сообщал. Немцы победно шли по Украине, захватывали города и села, вешали, расстреливали, жгли...

Вскоре мы съехали с дачи. В июле первые бомбардировщики, ведомые веселыми белокуроыми асами, прорвались до Харькова. Пацанва охотилась за осколками авиабомб. Мы собирали их после налета на мостовых и на крышах. Рваные, искореженные железяки, изготовленные в далекой стране...

**Та самая фугаска,
Та самая фугаска,
Которая на детство наше упадет...**

**Мы пели когда-то: «Если завтра война...»,
Мы пели когда-то: «Если завтра в поход...»
Пожаром и дымом пришла к нам она
В тот сорок суровый и памятный год.**

(Из моей песни в спектакле «Начало фанфарного марша»).

Осколки хранились в коробках из-под конфет. Ими обменивались, как марками или монетами.

В августе сирены раздирали душу почти каждый вечер. Бомбоубежище – подвальный этаж нашего же дома. Мы спускались туда втроем: бабушка Агнесса, мама и я, каждый нес с собой самое ценное. Мама – документы и облигации «золотого займа», бабушка – столовое серебро, а у меня в руках был карманный фонарик, привезенный мне год назад соседом из завоеванной нами Эстонии. Папа с нами не хо-



Мама, Бабушка и я

дил – намытарившись за день, он самозабвенно храпел на кожаном диване, закрыв газетой лицо от прилипчивых мух. Он был героем, он не боялся бомб. Он спал глубоким мирным сном.

За лето разбомбили нашу тридцать шестую школу. 1 сентября мы пришли в чужие классы чужой, восемьдесят второй, на Чернышевской. В каждом классе сидело теперь человек по шестьдесят, бои между хозяевами и пришельцами кипели на переменах и на уроках. Домашних заданий никто, конечно, не делал – разве что дураки и отличники. Умники же прекрасно понимали, что сейчас ни таблица умножения, ни действующие вулканы Азии, ни первое спряжение глаголов никакого значения не имеют.

Мама была занята подготовкой к отъезду. Паковала в мешки зимние вещи, обувь, посуду. Более ценное – платья, костюмы – укладывалось в большой коричневый чемодан с облезлыми боками. Перед самым отъездом мама обнаружила в одном из моих зубов дупло. Мог ли сын зубного врача отправиться в эвакуацию без пломбы? Сборы были приостановлены. Мы пошли к маминой знакомой, практикующему врачу по фамилии Бимбад (звали ее, по-моему, Эсфирь – да простится мне, ежели я ошибаюсь).

Это была дородная, цыганистого типа женщина с горячими обжигающими глазами, похожая, как я впоследствии заметил, на певицу Веру Александровну Давыдову в роли Кармен. Ее запястья, массивная царственная шея и мочки ушей сияли переливающимися драгоценностями. Перед тем, как зайти в кабинет мы немножко посидели в гостиной. Горка с хрусталем и фарфором, красного дерева мебель, невиданные замки и дворцы в массивных золоченых рамах – все это было так непохоже на нашу полутемную, длинную как коридор комнату в коммуналке с продавленным дива-

ном и двумя школьными полушариями на стене, прикрывающими затертую трещину.

Пока я сидел с открытым ртом в кабинете, держа в поле зрения одну только зловещую бормашину, готовую со сладострастным визгом впиться в мой зуб, мама и Эсфирь продолжали начатый в гостиной разговор.

– Ты, Роня, сумасшедшая! Все бросить и уехать! И куда? К черту на рога?

– Мы поедem в Саратов, к моей сестре, – отвечала мама. Внешне она была спокойной, лишь я знал, чего ей стоило принять такое решение.

– «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!» – захохотала Эсфирь и вставила в бормашину сверло. – Открой рот, детка, шире, еще шире! У твоей сестры, Роня, что, лишние квадратные метры? Может быть, она имеет профессорские апартаменты? Ах, только одну комнату? Вот-вот, представляю себе, как она обрадуется, когда на нее свалится все твое семейство.

Завыла, зажужжала пыточная машина.

– Не все семейство, Фира. Владимир с нами не едет.

– Умный человек твой муж, я всегда это знала.

– Он подъедет позже.

«Кармен» выключила бормашину.

– Ты уверена, что надо ехать?

Она наклонилась к маме и сказала внушительно:

– Мне рассказывал знакомый инженер. К ним на авиазавод приезжал маршал Тимошенко. Было собрание, общее, прямо в цеху. И он сказал: «Товарищи, работайте спокойно, никакой паники. От имени Советского правительства, от имени товарища Сталина заверяю вас, что Харьков мы не сдадим».

– Наверное, то же самое он говорил и в Киеве, который уже у немцев.

– Ну, знаешь, Роня!... В конце концов, даже если придут немцы... Это же европейский цивилизованный народ.

– А ты газеты читаешь? Кто убивает, кто расстреливает? Не этот ли цивилизованный народ? И в первую очередь евреев.

Бимбад снисходительно улыбнулась. Орудуя шпателем, она уже заделывала замазкой дупло.

– Как ты можешь верить нашим газетам? Ты ведь умная женщина, Роня, неужели не понимаешь, что это все пропаганда?

Мама и Бимбад на прощание поцеловались. «Кармен» положила мне на головку унизанную кольцами руку.

– Придешь после войны. Надеюсь, моя пломба сохранится.

Через пару дней мы уезжали из Харькова. Южный вокзал был погружен в зловещую тьму. В черном небе шарили лучи прожекторов. Эшелон подали на седьмую платформу, мы бежали туда через пути, спотыкаясь о рельсы. Толпа брала поезд штурмом. Мешки и чемоданы по головам были кое-как вброшены в вагон. Мест оказалось меньше, чем числилось у мамы. Но эшелон уже двинулся. Сидели в полной тьме, не видя даже ближайших соседей. Изредка за окном вспыхивали синие зарницы разрывов. Поезд, спасаясь от бомбежки, убежал в ночь. Чей-то тихий голос затянул песню. «Розпрягайте, хлопці, конів...» Ее подхватили – тоже негромко. Прощались с Украиной, с родным домом. Кто знал, куда мы едем? В никуда...

Вернулись за год до конца войны. Харьков был весь в руинах. Остовы домов в поперечном разрезе через все этажи... Бывшие квартиры – где штукатурка, где обрывки обоев. Висящие батареи отопления, мусор. Пошли на Рымарскую, к дому, где на втором этаже жила Бимбад. Он сохранился. Ее квартира, превращенная теперь в коммуналку, была заселе-

на другими людьми. Маминой подруги среди них не было.

В декабре сорок первого все еврейское население Харькова было согнано в бараки Тракторного завода и уничтожено. Среди погибших была и семья Бимбад.

А пломба, действительно, сохранилась.

АДВОКАТ БЕЛОВ ВСТОМИНАЕТ...

О Международном трибунале в Нюрнберге написаны тысячи книг, исследований, статей. О судебном процессе, проходившем в Харькове за два года до него, знают немногие. А ведь именно тогда мир услышал первый удар колокола, возвестившего о неминуемом возмездии.

Мои попытки разыскать кого-нибудь из участников харьковского процесса оказались безуспешными. Увы, время немолимо, никого из них уже не было в живых. Однажды в Москве, листая справочник коллегии адвокатов, я наткнулся на фамилию “Белов”. В стенограмме процесса упоминался защитник Белов. Инициалы тоже совпадали. Правда, фамилия больно уж распространённая. Ну а вдруг?

Звоню по указанному в справочнике телефону. Глухой старческий голос. Представляюсь и с трудом подавляя волнение, спрашиваю:

– Простите, не приходилось ли вам участвовать в харьковском процессе 1943 года?

Некоторое время- молчание.

И вдруг, к необыкновенной радости своей, слышу:

– Я защищал одного из подсудимых...

Через час я уже в Сокольниках. Дверь мне открывает

высокий седой старик. С палочкой – давно и тяжело болен, как я узнал потом. («Годы, знаете ли... девятый десяток. А ведь в ту пору я был самым молодым из защитников, выступавших в харьковском процессе).

– Нас было трое, все москвичи – Коммодов, Казначеев и я, – неспеша рассказывает Николай Петрович. – Работали в одной юридической консультации, на Большой Молчановке. Самым опытным из нас был, конечно, Николай Васильевич Коммодов. Широкая эрудиция, прекрасная память. Речи его были блистательны. Николай Васильевич вел обычно самые сложные дела... А теперь о том, как мы попали на процесс. Однажды, это было в ноябре сорок третьего, Коммодова вызвали в Наркомюст. Часа через три он возвратился, пригласил к себе Казначеева и меня. Видим – волнуется Николай Васильевич, а ведь умел владеть собой отлично. «Так вот, братцы, говорит, предстоит нам такое дело, которого никто из нас никогда не вел. Потому что таких процессов еще в истории не было. В Харькове готовится суд над тремя немцами и одним предателем. А мы их должны защищать.» Тут мы с Казначеевым в один голос: «Кого защищать? Убийц? Палачей?..» А Николай Васильевич в ответ: «И я так сказал в Наркомюсте. А на меня цыкнули и говорят: процесс должен быть проведен по всем нормам советского уголовного права. Суд будет открытым, на нем будут наши и зарубежные корреспонденты. Спросили меня, кого из защитников я мог бы порекомендовать. Я и назвал вас.»

Наутро пришла за нами машина и повезла на Лубянку: все материалы по делу находились уже в НКВД. Сразу же распределили подзащитных. Коммодов взял двоих – Лангхельда и Рица, Казначеев – Рецлава, а мне достался шофер душегубки Буланов.

– Какие чувства испытывали вы, когда знакомились с делом Буланова и встречались с ним?

Белов на минуту задумался.

– Я ожидал этого вопроса. И сам не раз задавал его себе.



Подсудимые на харьковском процессе. Крайний слева шофер душегубки М.Буланов

Думаю, что здесь надо отделить человеческое от профессионального. Шла война, газеты и радио сообщали об ужасающих злодеяниях оккупантов. Как я мог относиться к тому, кто стал их пособником, сел за руль смертоносной машины? А ведь это был человек, родившийся в нашей стране, учившийся в советской школе... Мразь, подонок... Но как защитник я должен был рассуждать иначе. Моя профессиональная обязанность – обеспечить право подсудимого на защиту. Буланов был на фронте, попал в плен, перед ним поставили условие: либо смерть, либо служба в гараже гестапо. Ничем, конечно, нельзя оправдать измену Родине, но все же была возможность просить суд о снисхождении. Я поделился своими соображениями с Коммодовым, и он согласился со мной. Кстати, для самого Николая Васильевича процесс в Харькове оказался последним. Вскоре после того как мы возвратились в Москву, нас вызвал нарком внутрен-

них дел Берия. Нас охватил самый настоящий страх: ведь просто так на Лубянку не вызывают, это мы хорошо знали. По дороге думали только о том, суждено ли вернуться... Берия устроил Коммодову разнос, стал орать на него: «Вы выступали на процессе как прокурор, а не как защитник. Об этом пишут сейчас в иностранных газетах!» Это была самая настоящая ложь. Я потом познакомился с отчетами о харьковском процессе в зарубежной прессе: все, наоборот, отмечали полное соблюдение правовых норм. Не знаю, зачем понадобилось Берии извращать факты. Возможно, это была подлая месть за участие Коммодова в процессе по делу так называемого “антисоветского право-троцкистского блока” в 1938 году, где Николаю Васильевичу удалось сохранить жизнь своему подзащитному профессору Плетневу, облыжно обвиненному во вредительской деятельности. Так или иначе, но через несколько дней после этого разноса Коммодов скончался. У него было слабое сердце...

Николай Петрович достает с полки большой альбом в черном переплете. Переворачивает листы с фотографиями. После харьковского процесса идут незнакомые снимки.

– Это уже не Харьков, – поясняет Белов. – Я ведь после того принимал участие во многих процессах, где судили военных преступников. Это Смоленск, декабрь сорок пятого. А эти фото сделаны в Киеве. В те годы, после харьковского процесса, трибуналы проходили во многих городах, где хозяйничали фашисты. А в Наркомюсте считали, что я уже имею достаточный опыт, вот и посылали меня. Ездил в Берлин, на процесс по делу администрации концлагеря Заксенхаузен. Был в Японии, где судили генералов, готовившихся применить бактериологическое оружие.

– Так что Харьков дал вам, как говорится, «путевку в жизнь»?

– Ну да, он ведь был первым.

РАЗВОДЯЩИЙ



На этом месте был «Старый пассаж». Перед самой войной мама купила мне диаскоп, и я показывал фильм о героях - папанинцах.

когда-то домами, школами, кинотеатрами.

Хлеб, сахар, крупы выдавали по карточкам. Остальное – с базара. Рынки в то время являли собой человеческое многотысячное муравейство, растекшееся между столами – на них были продукты из почти разоренных сел – и разноцветными островками на одеялах и ковриках с посудой, сковородками, утюгами, гребешками, керосинками и прочими предметами, без которых не проживешь. Одна старушка, помню, продавала фотобумагу «Кодак» по 10 листиков, вынуженная из черного конверта, дабы дороже продать. На мои попытки втолковать ей, что фотобумага засветилась и никуда не годна, она махала рукой и гнала меня прочь.

Мы вернулись из эвакуации летом 1944 года. Фронт был уже далеко, где-то на границах Германии. Но в Харькове все еще дышало войной. Старый пассаж, где мы с мамой покупали стеклянные шары на елку, был теперь грудой кирпичей и железа. Глазницы пустых окон на Пушкинской и площади Тевелева. Пленные немцы на расчистке руин Пединститута в саду Шевченко. Мертвые коробки корпусов Тракторного завода, куда трамвай №9 едет по коридору обгоревших и обвалившихся стен, бывших

На разноцветных островках случались и книги. Большею частью разрозненные тома классиков, исчерканные детскими каракулями. Попадались и книги неизвестных мне дотолде авторов: Стефана Цвейга, Пруста, Монтеня, Пиранделло.

Не было ничего удивительного в том, что четырнадцатилетний паренек не был знаком с этими писателями... Наша довоенная библиотека пропала, ею обогрелись жильцы коммуналки в первую морозную зиму оккупации. А три года, проведенные в Чимкенте и глухом селе Воронежской области, были отданы чему угодно, только не книгам.

Мама выдавала мне каждую неделю не помню уж какую сумму на расходы. Но я их употреблял не на мороженое или пирожки с ливером, а на книги. Бродя по воскресеньям между разноцветными ковриками, я выискивал то, что привлекало меня своим названием. Возвращаясь домой, показывал маме. Выслушивал ее одобрения или порицания. Некоторые книги были с печатями – школ или научно-исследовательских институтов, разграбленных во время оккупации. «Зачем ты купил эту книгу?» – нападала на меня мама. – Это присвоение чужой собственности, то-есть воровство. Ты невольно стал участником этого преступления».

Однажды я принес толстенный том Шекспира в дореволюционном издании Брокгауза-Ефрона. Книга была богато иллюстрирована гравюрами английских художников. Мама ахала, рассматривая иллюстрации. И вдруг заметила на 17 странице штамп Библиотеки Короленко.

– Ты не имеешь права держать эту книгу у себя. Знаешь ли ты, оболтус, что такое Библиотека Короленко? Там собраны все или почти все книги, изданные в России и за годы советской власти. Ими пользуются ученые и студенты. А эта книга особенно ценная. Видишь, третий том из собрания сочинений. Сейчас вместо этого тома на полке хранилища пустое место. А книга у тебя! Срам! Позор! Ты должен

отнести ее в Библиотеку. Немедленно!

Мама, как всегда, была права. Лишать ученых и студентов возможности читать третий том Шекспира я не хотел. Назавтра, положив книгу в авоську, я направился в Библиотеку Короленко. Здание ее, как я узнал позже, попало в зону первых ночных бомбардировок. Главный вход был завален битым стеклом и мусором. Часть хранилища и подсобные помещения правого крыла были срезаны авиабомбой. Войти в Библиотеку можно было пройдя через двор, где от асфальта в осенней грязи осталось несколько островков.

Охранник не пустил меня дальше первого этажа. Я стоял под лестницей запасного входа, пока пришла сотрудница библиотеки. Милая, улыбающаяся блондинка – впоследствии я узнал, что ее звали Нина Борисовна – вся засветилась радостью, узнав, по какому делу я пришел.

– Столько книг у нас пропало... Если бы все так поступали, как ты!

Молодчина, ты спас редкую и ценную книгу. Вырастешь и станешь нашим читателем.

– А сейчас можно к вам записаться?

– Увы... Во-первых, мы еще наводим порядок в хранилищах и каталогах и боюсь, что в этом году не откроемся. А, во-вторых, мы школьников не записываем. Поступишь в институт – тогда приходи.

Знал ли я, окидывая прощальным взглядом израненное здание Библиотеки, сколько счастливых часов проведу я здесь, в ее просторных и светлых читальных залах, наслаждаясь близостью и доступностью тысяч и тысяч молчаливых хранителей человеческой мысли.

По совету Нины Борисовны я записался в детский филиал Библиотеки Короленко на улице Дзержинского. Читателей было много, книг мало. Майн Рид и Жюль Верн были прочитаны быстро, на Уэллса и Ефремова надо было пода-

вать заявку и ждать своей очереди чуть ли не месяц. В сорок пятом году перед филиалом стояла длиннющая очередь в читальный зал желающих читать новые главы «Молодой гвардии» А.Фадеева, которая печаталась в журнале «Знамя» и газете «Комсомольская правда». (Я пишу эти строки и сам себе не верю, что такое могло быть!).

Доступ к сокровищам Библиотеки Короленко я получил в сорок шестом году. Ушел из школы и всеми правдами и неправдами прорвался на открытые для фронтовиков подготовительные курсы Института стройматериалов. А это означало 200 рэ стипендии и вождеденный студенческий билет. Конечно, в день его получения я стал и читателем Библиотеки Короленко. Она уже открылась к тому времени, но работал только небольшой читальный зал с огромным столом посередине, за которым сидело 100 человек. Именно сто номерков были в ходу, их выдавали читателям, стоящим в длинной очереди, хвост которой заканчивался во дворе. Номерки выдавались на втором или третьем этаже, куда надо было добраться по лестнице черного (запасного) входа. Медленно поднимались мы со ступеньки на ступеньку, кляня про себя тех, кто сидит в зале часами. Лестница была ветхая, со всех сторон дуло, на каждой ступеньке теснилось по два-три человека. Ступеньки могли запросто обвалиться, как в фильме Де Сантиса «Рим в 11 часов», где на такой же лестнице стояли безработные машинистки. Но кладка русских мастеров оказалась, слава Богу, прочнее.

Наконец, после трех-четырёх часов ожидания продрогший или замерзший (в зависимости от погоды), счастливчик попадал в теплынь читального зала. Теперь надо было обрести место – и это было совсем не просто. Вдоль стола стояли длинные скамейки, на которых плотно друг к другу сидели молодые парни и девушки, большей частью студенты, склоняясь над книгами и тетрадями. Сесть надо было

по-умному, то есть рядом с девушкой, а еще лучше между двумя особами женского пола. Это нисколько не мешало процессу чтения. Нежное внезапное касание соседки пробивало электрическим током «от бедра», а вставание ее неминуемо сопровождалось стыдливым показом коленки (и не только ее). Но эти прелестные мгновения, иногда приводившие к романтическому знакомству, не мешали усердно, страница за страницей, поглощать книги Драйзера, Фейхтвангера, Ремарка.

Не надо думать, однако, что можно было выписать несколько художественных книг. Чтение романов считалось в окошке выдачи книг непозволительным развлечением. Дополнительно к научной литературе можно было заказать только одну книжку с грифом Б. (беллетристика). Наверное, это было разумно, ибо ни транспортеров, ни лифтов в ту пору не было и бедным женщинам приходилось таскать тяжеленные кошелки с книгами вверх и вниз.

Единственный человек, которому позволялось выписывать литературу с любым грифом, даже редкие, особо ценные книги, и в любом количестве, был «Разводящий». Звали его Виктор, но ни фамилии, ни кто он, мы не знали. Сидел он в торце нашего огромного стола в плетеном кресле – место главы стола принадлежало только ему и никто не был вправе его занимать. Отличался он от нас всем – горделивым «шляхетским» лицом, высокомерным взглядом глубоко сидящих глаз, которыми он смотрел либо в книгу, либо поверх нас, теснящихся на лавках простых смертных. Особой приметой Разводящего были длинные, уложенные и ухоженные, красивые светлые волосы. Позже эту прическу стали называть «демократкой» – так были подстрижены студенты из «стран народной демократии», приехавшие учиться в харьковских вузах. Нас же в любой парикмахерской стригли как овец –

под «бюкс» или «полубюкс», одинаково, и обольванивали за пять минут.

Девуцы, сидящие за столом, пикировали Разводящего своими выразительными взглядами. Он выделялся из массы, он был загадочен – а это всегда привлекает женщин. Разводящий, как я уже говорил, ни на кого не смотрел, ни на чьи призывные взгляды вроде бы не отвечал, но как-то само собой получалось, что с его уходом пустело место на лавке, занимаемое прехорошенькой (сейчас сказали бы «сексапильной») девуцей. Или наоборот: сперва уходила «она», а следом за ней и Виктор. За это он и получил свое прозвище «Разводящий».

Когда открылся большой зал Библиотеки, исчезла очередь на лестнице черного хода. Плетеное кресло Разводящего уже не вписывалось в строгий академический интерьер, да и он сам пропал, будто остался в том времени, когда был хозяином стола и кумиром молоденьких читательниц.

БЕРЕГА, БЕРЕГА...

Прошлое невозможно представить себе без субботников и воскресников. Стремясь не отстать от Ильича, вцепившегося за знаменитое бревно, мы – сперва школьники, потом студенты и до конца дней рабочие или совслужащие – отдавали свои выходные дни бесплатно труду на благо общества.

Наши верховоды решали за нас, на что употребить единственный тогда свободный день недели. Мы собирали грязные бутылки, жгли сухие листья, утилизировали металлолом, мыли окна, красили скамейки.

На филфаке, помню, висело объявление с распределени-

ем всех подразделений факультета:

Украинцы и русские – на уголь,
Журналисты – на дрова
Классики – уборка двора.

Среди «классиков», т.е. студентов классической филологии, изучающих язык Цицерона и Гомера, с метлой в руках и сигаретой «Прима» в углу губ, был и Юра Азаров, о котором сейчас известно, что он (перечисляю) доктор педагогических наук, профессор, действительный член двух академий (творческой педагогики и экономической безопасности), член Союза писателей России. Автор книг, изданных в США, Англии, Индии и др. странах) и картин, экспонировавшихся в Третьяковской галерее, в Кремле, ЦДЛ, ЦДРИ, в Королевском замке Варшавы, на выставках в Париже и Нью-Йорке.

Нет, может быть, приобщение к труду и было полезным, тем более, что после такого с видимой отдачей проведенного выходного следовало коллективное посещение пивбара и другие радости людей, освобожденных от нудных лекций по «Грамматике старославянского языка». Очевидно простой дворницкий труд давал моральное право и на простые плебейские утехы.

Но часто на воскресниках приходилось выполнять пустейшую работу, «мартышкин труд», как мы называли глупую обязательку, которая никому не нужна.

Году в сорок девятом комсомольские вожди нашего Дзержинского района надумали провести воскресник под громким «брендом»: «Долой нищенство и попрошайничество!». Идея была актуальной, ибо на улицах было полно нищих. Инвалиды войны, бродяги, бездомные подростки, старухи в обносках – их было полно на улицах города, еще не опра-

вившегося после четырех военных лет.

Собирались мы на улице Тринклера, возле истфака. Все выглядело торжественно. Гремела музыка. Комсорги переписывали тех, кто явился. Парни с правильными комсомольскими лицами и красными повязками на рукаве, аппаратчики, давали распоряжения. Филфак получил задание очистить от нищих Бурсацкий спуск и Малый Лопанский мост, соединяющий Клочковскую улицу и Благовещенский базар.

На подходе к рынку, по обе стороны моста, стоял и сидел этот обездоленный люд, жалобно взирая на каждого, кто проходил мимо. Место это, облюбованное и насиженное нищими, было, очевидно, кормежным и давало какой-никакой доходишко. Те, кто с тугим кошельком шествовал на базар, скидывали мелочь в картузы и консервные банки в надежде на выгодную покупку. А идущие им навстречу испытывали, видимо, угрызение совести за накопленную вкуснятину и тоже изредка делились тем, что еще брэнчало в карманах.

В чем же, как вы думаете, состояла наша акция? Может быть, подали к мосту комфортабельные автобусы или, на худой конец, грузовые машины с сиденьями для перевозки этих несчастных в какие-нибудь приюты или спецприемники? В недоумении мы стояли перед мостом, ожидая распоряжений начальства. Оно прибыло, наконец, на хилой райкомовской легковушке и объяснило боевую задачу.

Никаких автобусов, никаких спецприемников, наивные мы люди! Всех нищих, всего-навсего, нужно было перевести через мост на другой берег. И все? И все.

– А смысл?

– Неужели не улавливаете? А ведь будущие журналисты!

Комсомольский функционер, широко улыбаясь, объяснил нам, простофилям: на том берегу другой район города – Ленинский. Пусть стоят там, хоть до конца дня. Сегодня,

как сообщил он нам по секрету, должен проехать мимо секретаря Дзержинского райкома партии и нужно отрапортовать ему о том, что с нищенством и попрошайничеством в районе покончено.

Сколько отборного мата и угроз летело на нас от инвалидов-фронтовиков, сколько изощренных проклятий слышали мы от согбенных старушек, переводя их на другой берег! Кто-то угрожал сморщенным грязным кулаком. Кто-то плакал, взывая к нам.

Часам к двенадцати подходы к мосту были очищены. На душе было гадостно. Идти в пивбар не было никакой охоты.

В этот день я сам себя исключил из комсомола.

Жизнь продолжалась, но не «под салютом всех вождей».

РОМЕО, ДЖУЛЬЕТТА И «ОТЕЦ НАРОДОВ»

В годы моей юности школы были разделены по половому признаку: на мужские и женские. Как в бане: мужчины – направо, женщины – направо.

И сам я учился в 131-й харьковской мужской школе, где юбки шуршали только на строгих бедрах классных дам. Стойкий казарменный дух неуловимо витал над нами. Стриженные затылки впереди тебя; и ни единой косички, которую можно было бы исподтишка подергать, испытывая сладостное чувство озорства и нежности. И шутовой записки некому бросить через парту, и проводить домой, по-рыцарски неся портфель, тоже некого. В одном из своих стихотворений, «Тили-тили-тесто», я бессовестно врал. По всей вероятности, это уже было не со мной, а с моей дочерью Яной, которая никогда не страдала от отсутствия влюбленных в нее одноклассников. Так что описывал я чужой опыт:

**Я портфель за ней носил –
Просто он тяжелый был,
Просто постояли у подъезда,
Но смеялся весь наш класс,
Говорили все про нас:
Тили-тили-тили-тесто!**

**Я ей мишку подарил –
Просто мишка лишним был,
И ему в чулане было тесно.
Но смеялся весь наш класс
И опять дразнили нас:
Тили-тили-тили-тесто.**

**Скуки ради заодно
Я позвал ее в кино –
Просто вместе было интересно.
Но опять смеялся класс,
Завели они про нас:
Тили-тили-тили-тесто!**

**Что за тесто, ерунда!
Не пекли мы никогда
Пирогов и пышек, это честно!
Но твердит упрямо класс,
Лишь завидит где-то нас:
ТИЛИ-ТИЛИ-ТИЛИ-ТЕСТО!**

А мы вот были лишены этих невинных ухаживаний за своими одноклассницами. Мы должны были грызть науку и не отвлекаться на всякую ерунду. Лишь по большим праздникам, всего несколько раз в году, дозволялось нам, юным аскетам, переступить порог 116-й женской школы, где мы

могли пригласить замирающую от волнения девчоночку на тур вальса.

Кому же, интересно, и когда взбрела в голову эта нелепая, высосанная из пальца дремучая домостроевская мысль о преимуществах раздельного обучения? Оказалось, что ему, Самому! Вникавший во все и вся – начиная от языкознания и музыки и кончая мелиорацией, он и здесь, великий и мудрый, дал ценные указания.

А произошло все из-за любви. Романтической, чистой любви двух учащихся элитной московской школы Нины Уманской и Володи Шахурина.

Отец Нины Константин Александрович Уманский был известным советским дипломатом. Работая над романом «Шуба для палача», я узнал много интересных фактов о жизни этого человека. До войны, в течение ряда лет, он занимал пост полпреда СССР в Соединенных Штатах Америки, а в военные годы возглавлял дипломатическое предста-



Нина Уманская и Володя Шахурин

вительство в Мексике

Генерал-полковник Александр Иванович Шахурин, отец Володи, руководил в сороковые годы министерством авиа-

ционной промышленности. Обе семьи проживали в знаменитом правительственном «доме на набережной», недалеко от Большого Каменного моста.

Володя и Нина дружили с детства. В старших классах между ними неожиданно (а может быть, вполне предсказуемо!) вспыхнула любовь – трепетная, стыдливая, поглотившая их обоих первым, неизведанным чувством.

«Кремлевских детей» доставляли в школу правительственными «зисами» и «паккардами». И дома, и в школе подростки играли в своеобразные игры. Назначали себя наркоманами и генералами, преследовали «шпионов» и «диверсантов». И ничего удивительного – ведь дело было во время войны.

Но были в этих играх и серьезные эпизоды. Один из сыновей Микояна тайком подарил Володе Шахурину в день его рождения трофейный «вальтер». Спрашивается, зачем? Конечно же, Володя никому из домашних не сказал об этом. Спрятал в ящике со старой обувью, который стоял у них в прихожей.

Но, по незыблемым законам драматургии, сформулированных еще Чеховым, пистолет этот не мог не выстрелить. И выстрел раздался. Вернее, не один, а два. Вот как это произошло.

В 1943 году Уманского назначили послом в Мексику. Новое назначение было ответственным и престижным. Мексика в те годы была одной из важнейших стратегических стран американского континента. В свое время, в 1930 году, под давлением реакционных сил мексиканское правительство разорвало дипломатические отношения с СССР, и требовалось немалое искусство, чтобы наладить взаимопонимание и сотрудничество двух стран. Константин Александрович радовался предстоящей работе, семья начала готовиться к отъезду. Нина сказала об этом Володе Шахурину.

– И ты уедешь? – еле вымолвил он побелевшими губами.

Два дня Володя не ходил в школу – сказался больным. На третий день, как раз накануне отъезда Нины, позвонил ей и предложил увидеться.

Они встретились на Большом Каменном мосту – на своем обычном месте. Володя, схватив нинины руки, начал говорить – сбивчиво, горячо, не давая ей сказать ни слова. Он все обдумал: они должны бежать. Куда? Да куда угодно, лишь бы быть вдвоем. Хоть на Урал, хоть в Сибирь! Он пойдет работать – сейчас на военные заводы даже пацанов берут. Не померем, прокормимся, пойми – мы должны быть вместе.

– Ты сумасшедший, – сказала Нина спокойно и, как ему показалось, даже чуть насмешливо. И отняла руки. – Ни в какую Сибирь я не поеду. Я завтра лечу в Мексику.

Он долго смотрел на нее, не понимая, о чем она говорит. И лишь услышав: «Прощай, Володя!», вдруг закричал:

– Ты никуда не уедешь! Никуда!

И выхватил из кармана «вальтер».

– Нет, Володя, нет! – Лицо ее было страшным.

Грохнул выстрел. Нина упала. Следующую пулю Володя тут же пустил в себя.

Толпа, милиционеры, сирены скорой.

Им это уже было безразлично. Они лежали недвижимо на Большом Каменном мосту, обычном месте их свиданий.

Происшествие было чрезвычайным. Госбезопасность доложила Сталину. Сыновей Микояна, косвенных виновников случившегося, вождь повелел выслать из Москвы: пусть, мол, поживут в провинции, там им прочистят мозги.

Но мысль великого стратега, оттолкнувшись от данного чрезвычайного происшествия, пошла неуклонным путем дальше:

– Дэлом надо заниматься, а нэ любов крутить!

И повелел ввести в школах раздельное обучение. Ему, бывшему ученику Горийской семинарии, казалось, что лишь таким образом, отделив кирпичными стенами мальчиков от девочек, можно будет направить все их силы и помыслы на строительство светлого будущего.

После смерти вождя еще несколько лет по инерции продолжали существовать женские и мужские школы. А потом, в один поистине прекрасный день, все снова вернулось на круги своя. К великой радости мальчишек и девчонок.

МИЛЛИОН НА УЛИЦЕ БЕРИЯ



Сейчас говорят «бизнес». Раньше, в годы моей послевоенной юности, это называлось «спекуляцией».

К бизнесменам относятся с уважением. Если пофартит, чего доброго и олигархами станут. А олигархи всемогущи как земные боги. Живут открыто, кидают золото направо и налево. И никого не боятся – ни бога, ни черта.

Спекулянты были трусливы, жили подпольно, воровато. Кругом враги. Сосед – стукач, участковый – лютый зверь, прокурор – срока навешивает. От всех надо было «ховаться».

Спекулировали везде, где собирались двое и больше. В поезде, у пивного киоска, в общественном туалете. Узаконенным местом операций «купил-продай» являлись, конечно, рынки. Море разливанное бедно одетых людей, прижимая к груди продажные вещички и толкаясь друг о друга, заполняло огромное запустыренное пространство на берегу речки Лопань. Это был знаменитый «Благбаз», т.е. Благо-

вещенский базар. Дорога к рынку совпадала здесь чудесным образом с «дорогой к храму», т.к. шла через Большой Лопанский мост мимо самого величественного в Харькове Благовещенского собора. Тем самым примирялось святое и грешное.

Спекулировали все, кому удавалось хоть правдой, хоть неправдой раздобыть «дефицит» – вещь, имевшую спрос. А поскольку заводы и фабрики стояли еще в руинах, спросом пользовалось буквально все: спички, соль, пустые бутылки, галоши, ситец, стеариновые свечи, мыло, керосин. Ничего этого не было в государственной торговле, а если и «выбрасывали» какой-то товар, то в первую очередь сквозь озверевшую толпу пробивались к прилавку бывшие фронтовики, а ныне калеки – без рук, на тележках, с костылями. Очередь знала – все купленное ими и вынесенное поверх голов из толкучки, тут же, у магазина, будет продано и на виду у всех залито-пропито. Знала и молчала очередь, ибо как на своих сыновей и братьев сквозь слезы глядела на этих искалеченных молодых парней, которым жизнь оставила только одно утешение.

Наш сосед по коммунальной квартире, главный инженер проекта института Гипротяжмаш Вольф Абрамович Глезер (имя и фамилия изменены) тоже подрабатывал продажей дефицита. На вид никто бы не сказал, что этот интеллигентный, улыбчивый, с седыми висками аристократ занимался недозволенной торговлей.

В перерыв, ровно четверть второго, он обычно приходил к себе домой, тщательно, не жалея драгоценного мыла, тер пальцы и усаживался за стол, накрытый к его приходу по всем правилам великосветского раута. На белоснежной скатерти располагались разложенные по неведомым мне тогда еще правилам серебряные ложки и ложечки, вилки и вилочки, расписные фарфоровые тарелки и тарелочки. И все – для

него одного! Его жена хлопотунья Лилечка, не смея сесть за стол, ставила и убирала, накладывала и подливала, заглядывая в глаза своему дорогому Волечке, доволен ли он ее старанием. Впервые я увидел тогда, что суп может быть подан не в закопченной кастрюльке, как у нас, а в пузатой чопорной супнице с розовыми ангелочками на ее боках. Охваченная массивным серебряным кольцом, лежала перед Волечкой накрахмаленная салфетка, он небрежно вытирал ею запачканные соусом губы и, скомканную, бросал на край стола. Подумать только – такую белизну испачкать за один раз! И это в сорок шестом-то послевоенном году!

Воля часто ездил в командировки, в основном на Урал. Встречал его по телеграмме зять Семка – дюжий парень лет тридцати, помогавший управиться с багажом. Вольф уезжал с небольшим портфелем, а возвращался с несколькими чемоданами, которые он называл кофрами. И чемоданы, и их содержимое через приходящих к Лилечке людей уплывало потом на рынок.

Однажды я застал его перед раскрытым кофром. Сперва он смутился, хотел было опустить крышку, но потом засмеялся и подозвал меня.

– Что это, соображаешь? – с хитрым прищуром спросил он.

– Иголки, – сказал я. – Швейные иголки. Зачем их так много?

– Миллион! – гордо произнес он. – А людей что, мало? И всем надо шить.

Однажды он привез школьные учебники. Новенькие, только из типографии. «История средних веков», «Букварь», «География». А мы-то учились по старым, затрепаным, исчерканным каракулями еще в довоенные времена..

– Взял на пробу, – сказал Вольф. – Вес большой, вряд ли есть смысл. Если хочешь, попробуй. Сотню мне с каждой

книжки, а тебе то, что сверху.

В воскресенье я пошел с «товаром» на «Благбаз». Протискался через толпу на книжную площадку, выложил на согнутой руке несколько учебников, хожу, жду покупателей. Новенькие книжечки сразу же обратили на себя внимание.

– Сколько за «Физику», пацан?

– Полторы сотни.

– Очумел, что ли?

– Новенькая же совсем.

– Может, и законы там новые?

– А за «Алгебру» сколько?

– Сто сорок. А сколько дадите?

– За стольник возьму.

– Не, дядя, хоть двадцатник набавьте...

– Сейчас мильтона позову, он тебе набавит.

– Боялся я вашего мильтона. Это мои. Мне с Урала прислали, только класс перепутали. Не пропадать же даром.



«Продавец книг»

К двум часам, «наварив» шестьдесят с чем-то рубчиков, т.е. на полбуханки хлеба, я стал протараниваться сквозь толпу назад, к трамвайной остановке. У табачного ларька неожиданно встретил одноклассника Борьку Зайцева. Поглядывая по сторонам, Борька таинственно шептал проходящим мимо него гражданам:

– Рационы... Продам
рационы. Кому рациины.

Увидел меня:

– Привет! Ты домой? У меня последний ящик остался. Подождешь?

Он торговал американскими продовольственными посылками. Они предназначались для солдат, но после окончания войны раздавались по каким-то спискам населению. И, как обычно, уплывали мимо этих списков «налево». Торговать «рационами» надо было осторожно, так как за спекуляцию продовольственными товарами можно было схлопотать срок или, по малолетству, попасть в исправительную колонию. Предусмотрительный Борька держал ящики у знакомой тетки в табачном киоске.

– Ну кому «рационы», покупаем «рационы», давай-налетай.

«Рационы» отличались набором продуктов. Покупатели это, видимо, хорошо знали.

– С тушонкой есть?

– Нет, с колбасой и яичным порошком.

Человек отходил. Другого интересовали сигареты. В «рационах» были слабые, с нежным ароматом «Честерфилд» или крепкие «Кэмел». Были еще маленькие тонкие сигарки, свернутые из табачного листа.

Последний оставшийся у Бориса ящик был именно с «Кэмелом». На него тут же нашелся покупатель. Борька вынес из ларька старую сумку, достал оттуда картонный посылочный ящик, вручил мужчине и пересчитал деньги.

В делах купли и продажи Боря был опытнее меня. Сын расстрелянного в тридцать восьмом году «троцкиста», одного из руководителей Харьковского «Торгсина», он хлебнул немало горя и невзгод, привык «вертеться» и добывать хлеб всеми дозволенными и недозволенными путями. При этом был круглым отличником, а по физике ему в классе вообще не было равных.

Жил Борис на Рымарской, но по субботам ходил после школы к своим родственникам, тете Злате и ее мужу Теодору, жившим в районе Госпрома, и тогда нам было по пути. Там он обычно ночевал до воскресенья.

– Что ты там делаешь? – поинтересовался я.

– Теодору помогаю, – сказал он. – Всю ночь карточки печатаем.

«Карточки» в ту пору были только хлебные. Ловкачи их подделывали, получали по ним продукты сами или сбывали населению. В газетах то и дело публиковались страшилки о пойманных и привлеченных к ответственности мошенниках.

И вот, пожалуйста, не кто-нибудь, а пацан-одноклассник, мой ближайший друг, печатает каждую неделю карточки и запросто, ничуть не скрывая, сообщает мне об этом.

Долгое время я был в неведении, пока Боря однажды не пришел на Первомайскую демонстрацию с фотоаппаратом «Лейка». В те годы это была редкость безумная, стоившая немалых денег. Фотоаппарат был не его, а дяди Теодора, к которому Боря по субботам ходил печатать карточки.

Не хлебные, как вы уже догадались, а фотографические! Я ему рассказал о своих подозрениях, смеялись до упаду.

Однажды после уроков Боря мне сказал:

– Есть одно дельце, можно подколотить. Хочешь в долю? Я согласился.

Мы сели на седьмой трамвай и поехали на улицу Берия. Да, да, была у нас в городе такая. Не самая лучшая, не парадная, но все же в центре старого города, примыкала к Рыбному базару. Поэтому до революции вполне обоснованно называлась Рыбной. В тридцатые годы ее обозвали модным тогда словечком «Кооперативная», отдавая дань ленинскому плану кооперации сельского хозяйства. В 1937 году, когда этот план был успешно выполнен и все едино-

личники кооперированы или репрессированы, эта ничем не примечательная улица получила имя заместителя наркома НКВД Лаврентия Берия. Заметьте, еще не наркома, которым он стал в 1938 году. А заранее, авансом, учитывая потенциальный рост этого деятеля. Название продержалось до 1953 года, когда сталинский нарком был разоблачен как враг народа и расстрелян. Тогда чуть ли не сам председатель горсовета всю ночь отбивал ненавистные таблички с фамилией предателя и шпиона, а ни в чем не повинная улица вновь стала Кооперативной. Конечно, жители других городов не знали на первых порах, какое название получила улица, где продолжали жить их родичи. И многие письма приходили на почту с адресом: «Харьков, бывшая улица врага народа товарища Берия»...

Сейчас, когда мы шли по ней с Борисом, улица была еще в послевоенных развалинах. Некоторые дома были огорожены заборами, там разбирали завалы кирпича и арматуры. Мы подошли к одному из заборов, Борька, опасливо глянув налево-направо, отодвинул доску и тихо сказал мне : «Посмотри». Я прильнул к щели и не увидел ничего кроме горы пустых банок.

Борька торжествующе смотрел на меня.

– Что скажешь?

Я с недоумением пожал плечами:

– А что?

– Ты даешь! – презрительно бросил он. – На «Благбазе» бабуленьки толкают эти банки с превеликим успехом... Не, сами торговать не будем. Мы им предложим. Тут этих банок без счета. Может, и миллион. Помножь хоть на рубчик – миллиончик на двоих. Здорово?

Действительно, дельце было шикарное.

– Давай сперва договоримся с бабками, чтобы даром не нести, – предложил я.

Боря согласился.

Было часа два, базар уже расходился. Но бабуленьки с банками еще сидели на своих местах.

Мы подошли к одной.

– Сколько ваша баночка стоит? – спросил Борис.

– Тебе какую, сынок, на литр или на половинку?

– На сметану или на молочко?

– И ту, и ту.

– Поллитровая за треху, а литровая – пятерочка. Бери, сынок, бери. Чистенькая, кипяточком и содой мыла.

– Да нет, бабушка, – сказал я. – Мы имеем немного банок, хотим вам предложить. Для продажи. Нужны вам банки?

– Может быть, и нужны. А сколько хотите?

Мы не мелочились, быстро пришли к консенсусу и вечером с двумя чемоданами поехали на улицу Берия. Забор был освещен одиноким фонарем. Мы прошли вдоль забора до переулка, погруженного в благодатную темноту. Я вынул клещами несколько ржавых гвоздей, мы сняли доску и в образовавшийся лаз один за другим проскочили во двор.

Банки были грязные, в мусоре и трухе. Разгрести их пришлось голыми руками. Ни тряпки, ни веничка мы, конечно, не захватили. Даже рукавицы не догадались взять.

В чемодане помещалось 12-15 банок, в сумке в два раза меньше. В спешке одна из банок выскользнула из рук – в ночной тишине звякнуло стекло. Где-то забрехала собачонка, мы пригнулись и застыли. К счастью, все обошлось, мы притащили чемоданы на Рымарскую и спрятали их в сарае.

Назавтра после уроков, обмыв банки у Бориса («кипяточком и содой», как сказала бабуленька), мы двинулись на базар.

Знакомые уже нам старушки накинудись на наш товар, баночки светились чистотой, они были вмиг расхвачаны бойкими торговками.

– Чего так мало? А еще есть?

Они окружили нас, держа скрюченными пальцами заму-соленные денежные бумажки.

К ним подбежали еще несколько женщин.

– И нам принесите, хлопцы. Мы тоже купим.

Бабуленьки вызверились на них:

– Это наши ребята. Мотайте отсюда!

Но новенькие не сдавались.

– Банки ихние, кому хочут, тому и нехай продают.

(Так был сформулирован один из важнейших законов свободного рынка).

Мы были горды и рады. Чувствовали себя принцами удачи и будущими Рокфеллерами. В подвальчике на улице Свердлова заказали по две порции шашлыка с пивом, и рыжая певица услаждала нас модной тогда песней : «Нинон, улыбнись хоть раз...»

На следующий день мы принесли вторую партию банок. И тоже был здоровый ажиотаж. Когда же мы явились в четвертый или в пятый раз, старушонки уже не бросались к нам с распростертыми объятиями. Придирчиво осматривали банки, небрежно отставляли якобы плохо вымытые. Нашупывали своими корявыми пальцами сколы и трещины, вобщем демонстрировали полное отсутствие интереса. Это был еще один из важнейших законов свободного рынка. Тогда мы стали носить банки другим торговкам. Это вызвало ярость первых бабуленек. Завидев нас, они кричали :

– Что вы нам цены сбиваете? Валите отсюда! Эй, милиция!

Эти чемоданы нам пришлось отнести на Конный рынок. Две ходки мы сделали еще на Сумской базар. И это было все. Дорога к рынку оказалась коварной.

Мечта о миллионе разбилась. Рокфеллеров из нас не вышло.

МАРК ЧЕРНЯКОВ В ДНИ МИРА И ДНИ ВОЙНЫ

Здороваясь, он протягивал левую руку. Правая, безжизненная, со скрюченными пальцами, едва способна была удержать спичечный коробок. Это была память о войне. «Память» – он так и назвал сборник привезенных с фронта стихов. Вместе с ранее изданной книжечкой «Сердце солдата» обе они составили лирический дневник старшего политрука стрелкового батальона Марка Чернякова.

**Мы молча отходили на Москву,
Мы каждый день товарищей теряли...**

Эти горькие строчки родились в трагические дни сорок первого, когда молодой лейтенант, выпускник школы политруков, принял боевое крещение в жесточайших боях на Можайском шоссе.

Против воющих в небе «юнкеров», против изрыгающих шквалы огня танков насмерть стояли солдаты его батальона – кто с винтовкой, кто со штыком, а кто просто с саперной лопатой.

Комиссар Черняков был человеком сугубо мирной, кабинетной профессии. Перед самой войной – ему было тогда двадцать восемь – с блеском защитил кандидатскую о Михаиле Хераскове, полузабытом писателе XVIII века, работал доцентом на кафедре истории русской литературы Харьковского пединститута. Учил студентов, вел аспирантов, мечтал о докторской...

Здесь, на передовой, в серой шинели с тремя «кубарями» в петлицах, он ходил с бойцами в рукопашную, мерз в занесенных снегом землянках, где «...ели сухие консервы, пили

холодную водку, пели хорошие песни, верили: будем жить!»

Комиссар понимал: не громкие слова, не трескотня газетных передовиц нужны сегодня людям. Говорил с ними о доме, об их матерях и любимых. И конечно же, читал стихи – из памяти, своих любимых Багрицкого, Светлова, Луговского.

В одном из фронтовых «треугольничков» он писал жене в далекий сибирский городок Бердск, куда была эвакуирована семья:

«Хотелось, чтобы ты, родная, поняла, что если в гражданской жизни мы себе иногда позволяли просто произносить слова, то тут за каждым словом стоит то, что уже глубоко и по-настоящему прочувствовано».

**Ровно в семнадцать тридцать
Взводный вошел в землянку,
Выдали всем гранаты,
К бою был дан приказ...
Молча мы обнимались,
Слова не проронивши,
Вышли гуськом из землянки,
Молча пошли на рубеж...**

Знал ли он, написав эти строки, что именно на том рубеже, под Старой Руссой, он примет свой последний бой? Осколком германской мины перебило правую руку, второй кусок смертоносного металла впился в спину. Окровавленного, потерявшего сознание политрука ординарец отволол на себе в полевой госпиталь.

Хирург хотел тут же ампутировать руку, опасался гангрены. Комиссар все еще находился в беспамятстве.

– Оставьте ему руку, доктор, – взмолился его ординарец, кудрявый паренек из Кременчуга. – Он ведь писатель, ему

без правой руки крышка.

Доктор ни в какую. Ординарец, вскипев, расстегнул кобуру (так потом рассказывали сестрички раненому). Хирург зашелся криком:

– Ты что, под трибунал захотел?!

И все же... В полевой операционной, при дрожащем фитильке самодельной, из гильзы снаряда, коптилки сшил доктор два фрагмента перебитой руки.

**Я много дней без памяти лежал,
Об этом мне потом сестра сказала...**

Рука осталась, но она была беспомощной, чужой – «куряча лапа», как называл он ее впоследствии.

**Конечно, очень страшно стать калекой,
Конечно, понимаешь, что врачи,
Что сестры, операции, аптеки
Обступят навсегда тебя теперь,
Обволокут бинтами, гипсом, ватой,
А старшина, вздохнув, в графу потерь
Запишет однорукого солдата...**

В Бердск, к семье, он приехал инвалидом войны. Что делать, как жить дальше, чем кормиться? Пошел к директору завода «ФЭД», эвакуированного из Харькова – он знал его еще до войны.

– Пойдешь в ВОХР?– спросил тот.

Черняков невесело усмехнулся:

– Какой из меня, к чертям, охранник? Я ведь и на курок нажать не могу.

А что же он, на самом-то деле, мог? Писать стихи? На это не проживешь. А ведь семья, четырехлетний Сашка,

мизерное пособие.

Так прошло несколько месяцев и вдруг – улыбнулась фортуна. Он стал редактором многотиражной газетки Томской железной дороги, а вскоре перешел работать на радио. Дело было близкое душе, родное. Он приучился писать левой – и пошло, поехало.

**И понял, что не умер, что живу,
Что вновь топчу зеленую траву,
Что значит жить мне долго суждено,
Что свидеться с друзьями мне дано.**

С друзьями, с родным Харьковом он встретился уже в срок четвертом. Квартира, которую занимали Черняковы до войны в писательском доме «Слово», была занята, дали другую. Он снова пришел в пединститут. В холодных аудиториях, продрогшие, отогревая дыханием замерзшие руки, сидели студенты – почти сплошь девушки. Параллельно стал читать лекции по истории журналистики в областной партшколе. Курс был для него новый, приходилось много работать – в библиотеке, в архивах. Хоть и приучился писать левой, но делать обширные выписки, составлять конспекты лекций было мучительно... Когда вступил в строй велозавод, ему и еще нескольким писателям подарили первые, только что собранные велосипеды. Он усмехнулся: руль ведь одной рукой не удержишь, поехал на толчок и обменял свой подарок на трофейную пишущую машинку «Оливетти». То-то радости было! Хоть медленно, хоть одним пальцем, но зато какой помощничек в доме появился!

Эту «велосипедную машинку» с заложенным в каретку листом бумаги мы постоянно видели у него на письменном столе. Мы – это студенты отделения журналистики Харьковского университета, где он вел курс истории журналистики.

Тогда, в первые послевоенные годы, не очень-то следили за посещением лекций, при желании можно было и «сачкаться». Но пропустить «лекцию Марка» считалось кощунством. Никаких учебников по этой дисциплине в ту пору еще не было, материал, который он нам давал, был плодом его многотрудных поисков и исследований, да и сами по себе эти лекции были великолепны и блистали эрудицией.

Марк Владимирович вел у нас семинары и коллоквиумы, рецензировал наши отчеты о первой газетной практике и вообще был для нас, юнцов, «отцом родным» – признанным и почитаемым куратором курса. Часто, когда он болел (покалеченная рука время от времени давала о себе знать – то флегмоны, то свищи), мы приходили к нему домой. Кто – получить консультацию, кто сдать зачет, кто попросить на вечерок книгу.

Дом был гостеприимный, открытый, на редкость хлебо-сольный – это в те скудные послевоенные годы! Студентов там щедро потчевали чайком с бутербродами или баранками. Но главным все же было другое – возможность общения с этим незаурядным, тонкой души человеком, его рассказы о людях, которых он близко знал – Борисе Слуцком, Николае Трублаини, Михаиле Кульчицком (тот был его студентом в пединституте), о фронтовых друзьях, не вернувшихся с войны. И конечно же стихи, составлявшие сам воздух этого заставленного книгами кабинета. Читали и мы, и сам хозяин – негромким, чуть глуховатым от вечного курева голосом.

Мы не были для него просто студентами. Он знал нас не только по ответам на экзаменах и зачетах. Кому-то помогал с общежитием, другому давал десятку – другую до стипендии, по-дружески, по-отцовски вникал в наши домашние и сердечные дела. Уходя от него, каждый уносил частичку доброго «черняковского» тепла – оно было так необходимо в те годы.

...В черном сорок девятом году в квартиру в писательском доме «Слово» ворвалась беда. Первые раскаты грома громыхнули, казалось бы, совсем далеко – в белокаменной нашей столице. В одном из январских номеров «Правды» появилась редакционная статья, с площадной руганью обрушившаяся на группу московских театральных критиков. Кто мог тогда предположить, что это, на первый взгляд, такое локальное событие, станет сигналом к беспощадной идеологической кампании, сломавшей судьбы многих тысяч людей, имевших в паспорте, в пятой графе, слово «еврей». Именно тогда родилось горько-шутливое присловье: «Чтоб не прослыть антисемитом, зови жида космополитом».

Все раскручивалось, как по нотам. Волна антисемитского цунами от державных кремлевских стен покатила в малые и большие города. Повсюду выискивались местные «безродные космополиты» и антипатриоты, которых нужно было растоптать, вышвырнуть из жизни. Это была настоящая война, да нет, скорее бойня, целью которой было истребление интеллигенции: громили писателей, художников, композиторов, а чуть позже генетиков и кибернетиков.

Партийные борзописцы со сладострастным садизмом раскрывали псевдонимы, за которыми, якобы, прятались эти «подонки», «отщепенцы», «беспачпортные бродяги», «политические диверсанты», «юродивые мистики»... Эти зловещие ярлыки, содрогаясь, я выписывал, готовя данный материал, из пожелтевших, но все хранящих в себе газет того времени. Как верно сказал Александр Солженицын: «Наши газеты били пулеметными очередями, фразы наших газет расстреливали и «делали события».

Одно из таких вонючих изданий носило название «Сталінські кадри» и было многотиражной газетой Университета, а на самом деле – рупором парткома, профкома и прочих вышестоящих «комов». Надо сказать, что назва-

ние газеты было точным и вполне в духе времени. Великий вождь изрек: «Кадры решают все». А мы, студенты, и были этими будущими «кадрами», которые ковались по железным идеологическим законам тех лет.

В середине февраля меня и Гену Залюбовского, моего однокурсника, впоследствии собкора республиканской газеты «Культура і життя», вызвали в редакцию университетской газеты. Не знаю, почему выбор пал на нас – думаю потому, что еще на первом курсе мы с ним частенько печатались в областных газетах.

В редакции нас встретил ответственный работник газеты Б. (фамилию его я не хотел бы здесь приводить). Пригласил в кабинет, угостил папироской и, вальяжно развалившись в кресле, приступил прямо к «делу».

– У вас на факультете, – сказал он, – подвизается (именно это словцо он произнес с брезгливой гримасой) некий Марк Черняков. Нам доподлинно известно, что лекции его ведутся на низком идейно-теоретическом уровне, насквозь пропитаны злобными нападками на лучших представителей революционно-демократической публицистики – Белинского, Добролюбова, Герцена. Наша с вами задача – разоблачить этого подонка (Господи, что он сказал: Марк – подонок?), как говорится, за ушко да на солнышко. Вы, студенты, должны на страницах нашей газеты дать принципиальную, партийную оценку этому безродному космополиту, которому не место в советском вузе.

Мы с Генкой молча переглянулись: что сказать, как выпутаться из этой поганой ситуации. «Не знаем, откуда у вас такая информация, но никаких антипатриотических высказываний мы в его лекциях не замечали. Наоборот, курс русской журналистики, который он ведет, мы все слушаем с большим интересом».

– Тем хуже для вас, – с металлическим оттенком в голосе

произнес Б. – Может быть, вы вообще газет не читаете? Или сознательно хотите взять под защиту проходимца и злопыхателя, который оплевывает то, что дорого истинному патриоту.

Он распалился, щеки его пылали праведным гневом.

– Чему вас, интересно, учат? Тоже мне, будущие работники печати! У них под боком орудует враг, безродный космополит, а они строят из себя целок – невидимок!

И тут Гена, выждав, пока Б. закончит очередную тираду, вдруг задумчиво произнес:

– А мы вообще конспектов не вели, как нам писать?

(Блестящий ход, молоток! Это он-то, закончивший Университет с красным дипломом, не вел конспектов!)

Б. аж задрожал от ярости.

– Запомните, вам это даром не пройдет! Саботажники, вот вы кто! Буду ставить вопрос перед деканом о вашем отчислении. Черта с два вам светит работать в газете!

Угроза была вполне реальной. В те годы запросто можно было вылететь из универа и за меньшие грехи. Невинный вечер памяти Есенина, который мы пытались провести после лекций в одной из аудиторий, был оборван на полуслове бдительным парторгом факультета, все участники переписаны, а «зачинщикам» вклеили по «строгачу». Чего же ожидать теперь студенту-еврею и его другу, сыну репрессированного?

Страх быть выставленным из «альма матер» не покидал нас несколько недель. Но, вместе с тем, мы были горды – ведь устояли, не сдались, не покривили душой, не предали. Быть может, это и было проверкой того, чему успел научить нас Марк Черняков. Нашим самым главным экзаменом.

Но – была бы мишень, а стрелки-добровольцы и патроны всегда найдутся. Уломали других авторов (про нас, к счастью, забыли!) и в «Сталинских кадрах» появилась па-

сквильная, клеймящая бедного Чернякова статья. Тщетно я пытался разыскать ее – в библиотеке Университета мне сказали, что весь комплект газеты за 1949 год утерян. Почему? Пожимают плечами. Стыдно? Может быть. Но это уже другой вопрос.

**В разоренном доме было тихо,
За окном кружилось воронье...**

Стихи эти были писаны совсем по другому поводу, на фронте. Но их мы вспоминали сегодня с сыном писателя Александром Марковичем Черняковым, рассматривая сохранившиеся в домашнем архиве вырезки из областных газет того страшного времени.

«Юродствующий космополит Черняков», «Клеветник», «До конца разгромить осиное гнездо космополитов в Харькове» – чего стоят лишь одни эти черные заголовки? Не рукой ли самого Марка Владимировича, его «курячей лапой» подчеркнуты отдельные строки и целые абзацы отборной черносотенной брани? «Надо быть закоренелым циником, надо всей душой ненавидеть советский народ, чтобы так подло оклеветать его», – без зазрения совести пишет коллега-писатель о произведениях того, кто собственной кровью доказал свою преданность Родине. Откровенным доносом смердят слова и другого пасквилянта : «Космополитствующий бродяга Черняков ...подменил большое сердце советского воина на свое – маленькое, эгоистическое, трусливое и мелкое». И – вывод: «не может быть, чтобы в писательских рядах пребывал клеветник, который осмелился опорочить гордый и прекрасный образ советского воина».

В марте сорок девятого Чернякова лишили всего – доброго имени, работы, большинства друзей, боявшихся переступить порог этого попавшего под шквал огня дома. «Безрод-

ного юродствующего космополита» изгнали отовсюду – из пединститута, партшколы, университета. Он, чей писательский билет был подписан самим Максимом Горьким, был выдворен из Союза писателей, книги изъяты из библиотек.

Гонения обрушились не только на него. Жену «врага народа» выгнали из «Главнеруда», на сына с криками «космополитеньш!» набрасывались дворовые пацаны. Квартира, в которой всегда было полно людей, опустела. Деятельный, энергичный, постоянно испытывавший нехватку времени, он был теперь один на один с незримыми врагами, обложившими его со всех сторон.

– Как жил отец в эти дни? – спрашиваю я Александра Марковича.

– Читал Толстого, – вспоминает он. – Изредка что-то выступивал на машинке, но никому не показывал. Ожидал самого худшего. На видном месте у нас лежала собранная им котомка: мыло, кружка, полотенце. Каждую ночь он ждал, что за ним придут.

И все же он был оптимистом, не позволял себе расслабляться. «Все наладится, вот увидите, окончится эта чертовщина», – убеждал он близких. А может быть, и самого себя.

Что же, ему повезло. За ним не приехал «черный воронок», миновал и ГУЛаг, куда попали другие, ничуть не виновней его. Трудно и невозможно, наверное, нынче докопаться, почему на областном партийном олимпе вдруг высочайше разрешили ректору ХГУ пригласить изгнанного полгода тому назад доцента Чернякова. Пожалели? Некому было вести курс истории журналистики? Или заступился кто-то из всесильных? Сейчас это гадание на кофейной гуще, да так ли уж актуальны эти подробности?

Однажды он снова появился в нашей аудитории. Почти не изменился внешне – как всегда собран, серьезен, лишь

на лацкане пиджака орден Красной звезды. Это было новым – раньше он никогда не демонстрировал свои военные награды.

Открыл папку, вынул какие-то записи, откашлялся. И обычным своим глуховатым голосом, который мы уже стали подзабывать, произнес:

– Итак, мы с вами остановились на том, что с приходом Добролюбова в журнал «Современник» вскоре стало выходить сатирическое прибавление – «Свисток», редактором которого стал сам Добролюбов.

В тишине заскрипели перья, лекция началась...

Он выиграл этот тяжелейший бой. Как и тот, на Валдае, где потерял руку. Правда, эта война, вторая, обошлась ему куда дороже. Тремя инфарктами, которые в конце концов, разорвали сердце солдата...

Короткое перо журналистики



ЭТО ПРЕКРАСНОЕ СЛОВО «ХМЫІЗ»

*«Врачи, постучав по впадой груди,
«Годен!» -кричали нам...»*

Никаких врачей не было, никто по нашей груди не стучал, но почему – то это двустипшие Багрицкого всплывало в памяти каждый раз, когда вспоминалось, как нас, будущих «журналюг», распределяли. День, который разделил наш курс на праведных и грешных, на чистых и нечистых, на евреев и неевреев.

Нас было 47 человек, и это был первый выпуск отделения журналистики филфака ХГУ. В кабинете декана за столом милейшего Петра Пантелеймоновича сидел незнакомый приезжий человек из Киева, хмурый, с непроницаемым властным лицом. Его кожаное пальто висело на круглой стоячей вешалке поверх преподавательских пальтишек и плащей. Распределять будущих работников большевистской печати приехал замзавотделом агитации и пропаганды Центрального комитета Компартии Украины Кухалашвили. Авторучкой, зажатой в его мясистых пальцах, судьба вершила свой приговор.

И ей уже неважно было, судьбе, какие оценки у тебя в зачетке, знал ли ты русский язык или латынь на пятерку или

сдал этот предмет с третьей попытки. И даже фронтовые годы, отблескивающие с груди у некоторых наших выпускников медалями и орденами, не добавляли им шансов, если пятая графа в паспорте была «испорченной». Ведь партия в лице этого киевского грузина подбирала себе славословцев и одописцев, верную рать боевых перьев. А ими могли быть только русские, украинцы, даже татары или мордва, но только не... Ожидая своей участи в «чистилище», которым был для нас уголок коридора перед деканатом, мы уже знали, что нас ждет.

Наши «дела» в стандартных скоросшивателях лежали стопкой на углу стола. Лишь «Дело» вызванного «на ковер» лежало раскрытым перед председателем распределительной комиссии. Мохнатые брови вскинулись вверх, глаза стрельнули в лицо, головы декана и секретаря приблизились к вершителю судеб, выслушали его невнятную шепотную фразу и дружно закивали.

– Направляйтесь в распоряжение такого-то обкома партии.

Секретарь заполняет бланк направления.

– Распишитесь здесь. И еще раз внизу. Спасибо. Следующий .

«Праведные» наши товарищи направлялись тоже в распоряжение обкома партии, но с маленькой припиской: «литработник областной газеты». Валька Данилов, например, невзирая на свой былой студенческий грех – он помочился в кустах перед обкомом партии и получил комсомольский «строгач» – был направлен в областную газету, а закончившая с красным дипломом Гита Адельсон получила путевку в районку.

Мне повезло. Сумская область, куда меня «распределили», рядышком с Харьковской, а Тростянец, где мне суждено было начать свой трудовой путь, вообще в трех часах

езды от Харькова. Газета называлась «Ленінська правда». Выходила она форматом А3 один раз в неделю. Работали в ней до меня трое «хлопців»: редактор, литработник и инструктор. Место ответственного секретаря, т.е. зам.редактора, было вакантным. Я и занял его.

Вольный студенческий дух еще не выветрился из мозгов, все казалось смешным, «прикольным», как сказали бы сейчас. Редактора Павла Михайловича Торяника я впервые увидел дома, в сарае, где он доил корову. Пошли в редакцию, он посмотрел мои бумаги и был поражен тем, что прислали беспартийного: «Як це так? Ви ж мій заступник» и потащил меня в райком партии. Не рассмотрел, наверное, моей графы. Смешно... Представил секретарю по идеологии, а ее фамилия Ева. Тоже смешно. Пообещал Еве, что в скором времени обязательно «вступлю»...

Гордей Аверьянович Кравчук, литсотрудник с окладом 690 рублей, принял меня холодно: мы, мол, университетов не кончали, но поглядим, на что ты годен. Я должен был верстать газету, чем раньше занимался он. Все материалы в текущий номер, написанные от руки (пишущей машинки в редакции не было – это был еще каменный век!), попадали на мой стол, а я уже должен был их прочитать, выбросить длинноты, выправить ошибки и отправить в набор, указав в уголке шрифт и размер набора. А кто нас учил этому?

Кравчук в первые дни посмеивался, искоса следя за моими муками – я то и дело заглядывал в «Каталог шрифтов», который привез из Харькова, в глазах моих была, очевидно, полнейшая беспомощность. Гордей же Аверьянович, обретший с моим приездом свободу, с упоением охотился за бесчисленными осенними мухами, обсевшими подоконники и столы, и звонко лупил их линейкой – строкомером. Без пяти двенадцать начиналось священнодействие – звездный час Кравчука. Он расчищал свой стол от хлебных крошек и та-

бака, приносил из типографии ворох бумаги, протирал липким носовым платком очки и включал на полную громкость радиоприемник «Рекорд». В те годы последние известия телеграфного агентства ТАСС-РАТАУ передавались для районных газет по радио. Диктор медленно и членораздельно диктовал, перо Кравчука то и дело цокало о дно чернильницы, крупные четкие буквы (чтобы разобрал наборщик!) заполняли страницу за страницей. В Запорожье пущена новая домна – ура! Доярка такая-то надоила столько литров молока – ура! Ширится забастовочное движение в странах капитала – ура! Политическая проститутка Иосиф Броз -Тито держит в застенках сотни югославских коммунистов – это уже не ура! Особенно умиляли расшифровки по буквам заковыристых иностранных имен и фамилий: Чжоу Энь-лай, Пын де хуэй, где последняя буква называлась «Иван краткий».

Свои успехи шахтеры и комбайнеры посвящали приближающемуся XIX Съезду партии. Я приступил к работе как раз в самый разгар этого всенародного безумия.

Кравчуковских новостей было столько, что ими вполне можно было бы заполнить две такие газеты, как наша. А как же жизнь района? Передовицы на темы «Подготовим технику к зиме», «Зябь под яровой клин», «Шире размах соцсоревнования» писал главный редактор, хваля передовиков и обливая грязью отстающих. Материал под рубрикой «Партийная жизнь» открывал вторую страницу. «Советы агронома» и два-три письма в редакцию – и все, можно засылать в типографию.

Она помещалась в том же одноэтажном доме, что и редакция газеты. Кравчук представил меня работникам типографии. Несколько наборщиков, оторвавшись от касс с литерами, и старичок-печатник с удивлением рассматривали молодого парня в городском костюме, который не нашел для

себя ничего более интересного, чем их заваливающая газетенка в богом забытом Тростянце.

Долгое время я не мог понять, в чем заключается работа третьего «хлопца» – Миколы Савченко. С утра до вечера он колесил по району на трофейном редакционном велосипеде, но, возвращаясь, ничего мне не сдавал, а шел напрямик в кабинет редактора. Официально должность его называлась «инструктор по работе с селькорами» или что-то вроде этого. В каждом колхозе у нас было по два-три автора. Некоторые из них писали в газету, чтобы прославиться. Кто-то таким образом сводил счеты с бригадиром или завфермой. Но большинство привлекал гонорар. И хоть он был совсем смешной – рубль-два за заметку, но для нищего колхозного крестьянства, которое получало 13 коп за трудодень, это были вполне приличные деньги. Микола был желанным гостем в каждом селе – он развозил гонорар, получал новые статейки, проверял на месте, что сделано по выступлениям газеты. В старой кошелке, завернутой в мешковину, он привозил банку нелегального те годы «первача» персонально для главного редактора и возглавляемого им коллектива.

Микола подыскал мне жилье поблизости от редакции. За смешные деньги – 50 рублей в месяц (это до реформы, сократившей нули) я стал обладателем небольшой чистой комнатки, в которой было все, что необходимо начинающему журналисту – солдатская железная кровать, диванчик для гостей, стол на витых ножках для писанины и пара стульев. Для меня это было первое собственное жилье и, хоть все службы, естественно, были расположены вне дома, радость моя была безграничной. Позднее я узнал, что к «смешной» квартплате я должен был добавлять раз в квартал несколько кубометров «хмыза» – хвороста, который мне полагался для отопления жилья как госслужащему. В этом была главная фишка, которая сделала меня желанным в доме моей

хозяйки Александры Ивановны. Удобен я был еще и тем, что ничего себе не варил, не жарил, обедал в райкомовской столовке, а завтрак и ужин состоял из легких бутербродов, привезенных из Харькова сосисок и яиц во всех видах. Раз в две недели я ездил поездом в Харьков, где встречался с друзьями и подружками и в ночь с воскресенья на понедельник с тяжелой от загула башкой возвращался в Тростянец.

От приезда до отъезда тянулись скучные 12 дней. Сводки РАТАУ, засыл в набор и вычитка материалов, верстка номера (к этой единственной неидеологизированной операции я питал подлинный интерес) и нудный длиннющий вечер либо с книгой, либо с бутылочкой вина, если кто-нибудь из местных интеллигентов неожиданно заваливался в гости. Жизнь Тростянца, прошлое края меня мало интересовали, хоть и стоило покопаться в них. Ведь именно в Нескучном, на окраине Тростянца, где я выписывал себе «хмыз», в имении Голицыных, 24-летний Чайковский (надо же, мой ровесник!) написал первое симфоническое произведение – увертюру к драме Островского «Гроза».

Изредка я выезжал в колхозы. Поездки эти были мучительными. Нищие села образца 1952 года. Полуголодные оборванные детишки в серых, под сгнившей соломой хатах, где приходилось ночевать. Коровы с пустыми боками, по колону в навозной жиже.

В эти поездки я как бы надевал на нос розовые очки, чтобы ничего подобного не видеть. Записывал в блокнот фамилии передовых доярок и механизаторов, сколько сдано государству хлеба и молока, скошено и посеяно. И по приезде в редакцию лепил из этого фарша безликие и лживые статейки, уснащая их газетными клише тех лет: «Став на трудовую вахту в честь XIX съезда партии...». Или «Ширится соцсовершенование на полях колхоза «Красный Луч»...

Господи, да какую же специальность я выбрал себе!



Тростянец.1953 г.

Постыдное ежедневное вранье. Если бы я был праведным коммунистом, как мой редактор Павел Михайлович Торяник. Или как малограмотный Микола Савченко, ни во что, кроме самогона, не верующий! Жить было бы легче.

Но ведь Универ научил меня думать. Вспоминались титаны прошлого, всплывало в памяти то, что питало меня пять благословенных студенческих лет.

«Беспачпортное» крестьянство, понимал я, железными цепями приковано к земле. Хуже российского векового крепостного рабства. И вместо проклятия в адрес создателей и охранителей этой железной системы, я должен славословить их. И так изо дня в день, минимум три года по распределению, а может быть и всю жизнь!

Сентябрь 1952 года, когда я приступил к работе в Тростянецкой районной газете, был апогеем подготовки к XIX съезду партии. Об этом кричали огромными буквами кумачовые полотнища, закрывая пустые полки в магазинах. Стены каждой парикмахерской или сапожной мастерской украшали красочные портреты вождя – чуть в профиль, в кителе генералиссимуса с двумя золотыми звездами на груди. Газеты, в том числе и наша шавочка, захлебывались от верноподданнического воя. Казалось, что приближающееся

«всемирно-историческое событие» захлестнет нас, четверых, авралом сумасшедшей работы.

Но оказалось все не так, как я представлял себе. Все дни съезда работал один Кравчук, принимая ежедневные длинные сводки ТАСС-РАТАУ. Наши перья отдыхали. Иногда, правда, редактор не выдерживал и раздражался передовой о том, как колхозники изучают (уже! бросив все свои полевые заботы!) материалы съезда и как претворяют их в трудовые подвиги. На заключительном заседании, как ожидалось, выступил Сталин. Телевизоров тогда не было, но на фото был хорошо виден усталый человек с мелким старческим лицом. Речь его была короткой – мы ее набрали 12 или 14 кеглем, и она едва заняла полстраницы нашего малого формата. Чувствовалось, что это его последний наказ, политическое завещание. Уже потом, много позже, я прочитал в воспоминаниях одного высокопоставленного партийца, который присутствовал на закрытом Пленуме ЦК, состоявшемся после съезда, что, обращаясь к своим соратникам, Сталин сказал:

– Мы, старики, все перемрем, но нужно подумать, кому, в чьи руки вручим эстафету нашего великого дела, кто ее понесет вперед. (Все предвидел гениальный Иосиф Виссарионович, только не Горбачева на своем троне Генсека, пустившего это «великое дело» под откос).

Ранним утром 6 марта будит меня зареванная Александра Ивановна:

– Прокиньтесь, прокиньтесь! Ой, біда, ой, що ж з нами тепер буде! Помер наш батько рідний!

Траурная музыка с хрипом вырывалась из черной тарелки репродуктора. Прибежали соседки, тоже в слезах, падали друг другу на грудь, общий плач становился все пронзительнее. Я наскоро оделся и побежал в редакцию.

Кабинет Павла Михайловича был заперт – главный был у Евы в райкоме партии. Кравчук и Микола сидели молча, в полном оцепенении. Кравчук крутил одну за другой самокрутки из крепчайшей махорки, Савченко курил дешевый «Памир». Сизый дым ключьями висел в комнате. Редакционный приемничек был включен на полную мощность – с минуты на минуту ожидалось срочное сообщение ТАСС-РАТАУ. В 10 часов утра скорбный голос диктора начал вещать:

ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР И ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

*Ко всем членам партии,
ко всем трудящимся Советского Союза.*

Дорогие товарищи и друзья!

Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя Коммунистической партии и советского народа – Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА...

Перо Кравчука брызгало плохо разведенными чернилами. Патетическая отходная по вождю, которую Микола лист за листом относил наборщикам, была сплошь в кляксах. Я прикинул, что диктовки минимум на два-три часа и решил смотаться в лесничество выписать «хмыз» за первый квартал. Мне уже несколько раз моя добрейшая хозяйка напоминала об этом. Думал ли я, как будет расценен мой явно не патриотический поступок?

Искристый мартовский снег скрипел под ногами. Начавшее уже припекать солнце настраивало на весенний лад и как-то безразличен был умерший в Москве человек. Наоборот, смерть тирана должна была что-то изменить в жизни страны, моей жизни.

Лесничество было в Нескучном, в 6-7 километрах от

Тростянца. Мой неспешный поход через лес, мимо высоченных сосен со скачущими белками, занял не менее трех часов. И, возвратившись в редакцию, я уже не застал там ни Кравчука, ни Микола. А мой стол был завален гранками только что набранного тассовского «диктанта», из которого мне предстояло сверстать специальный выпуск газеты. Не успел я приняться за дело, как в комнату ворвался главный редактор. Щеки его тряслись.

– Где вы были?! Без моего разрешения! Никому ничего не сказали!

Он был в бешенстве.

– Я ходил в лесничество. Вот накладная. Хмыз выписывал

Лучше бы я молчал.

Он рухнул на стул. Смотрел на меня выпученными, ничего не понимающими глазами.

– Вы... вы понимаете, какой сегодня день? Весь народ... Люди потеряли самое дорогое. А мой заместитель выписывает хмыз! Как такое может прийти в голову советскому человеку? Да вас расстрелять нужно, как врага народа!

Он вскочил и начал ходить по комнате. Туда-сюда, на меня не глядя... Потом, уже в дверях, обернулся и сказал. Тихо, играя желваками:

– Вы мне как-то сказали, что хотели бы вернуться в Харьков, что эта работа вам не подходит...

– Да. У меня старые родители, на пенсию им трудно прожить. Я...

– Пиши заявление. Знаю, что будут у меня неприятности. Выговоряку влепят за то, что раньше отпустил. Черт с ним! Не хочу работать с тобой! Не хочу и не буду!

В апреле 1953 года, собрав свой нехитрый скарб, я возвращался в Харьков.

Громыхал вагон, в тамбуре которого, зажав в зубах сигарету, стоял свободный, никому и ничем не обязанный человек.

ПОД ФЛАГОМ «ВЕЛОУДАРНИКА»

Эйфория вольной жизни выветрилась за две-три недели. Тягостное чувство своей ненужности рождалось каждое утро. Отец уходил на работу, мать на базар или в магазины. Мне, двадцатитрехлетнему, нечего было делать. Медленно тянулись часы до вечера, когда мы встречались в городском саду с приятелями и бороздили нарядную, с зазывными девчачьими глазами Сумскую улицу.

Официальной безработицы в нашей стране не было. Но я являлся наглядным опровержением этого гордого советского тезиса. Конечно, токари или штукатуры требовались, но меня в пролетариат не брали – мешал университетский диплом.

Эти синие корочки с тисненным гербом СССР никому не были нужны. В ту пору в Харькове было две областных газеты (одна на русском, другая на украинском языке), редакция радиовещания и небольшое издательство. Журналистских кадров – человек 70 – на огромный миллионный город. И те в основном с партийными билетами. На крупных заводах, помимо этого, выходили многотиражные газеты, по два-три сотрудника в каждой. У отца были связи на заводах. Он был уверен, что «блат», всесильное порождение социалистической системы, способен пробить любую крепость. Через знакомых отец привык доставать нужное оборудование, дефицитные стройматериалы, выбивал штатные единицы. Неужели этот всесильный инструмент не сработает в отношении его сына?

Почти полтора года тянулись переговоры. «Зайдите во вторник», «позвоните в пятницу». Звонил и заходил, но все напрасно. Тот, кто обещал помочь, работал раньше в райкоме партии, а потом перешел на хозяйственную работу. И он, и я испытывали почти одинаковую неловкость при встречах. Мне было неудобно отрывать этого занятого человека от дел. А он, по-доброму относящийся ко мне, наверное, тоже испытывал смущение, так как ничего конкретного мне предложить не мог.

Но – капля точит камень. «Идите на велозавод к такому-то» – услышал я, наконец, от моего благодетеля. Диплом, трудовая книжка, вырезки из газет – и я уже в кабинете секретаря парткома велозавода. В тот же день на одного нелегального безработного в стране стало меньше. Я был зачислен *исполняющим обязанности заведующего заводской типографией*. Такова была одна из распространенных шуток социалистической системы – числиться в одном месте, а работать в другом.

Газета называлась по-смешному: «Велоударник». Редактором ее был Аркадий Исаакович Каневский. Шебуршной, запальный, с вихрами торчащих жестких с проседью волос, падающих на лоб, он был родом из комсомолии тридцатых годов. Из тех, кто с одинаковым энтузиазмом громил как си-нагоги, так и православные храмы.

Он и его брат Давид перебрались из небольшого городка Лохвицы на Полтавщине в Харьков, украинскую столицу того времени. Рабфак, заметки в газетах, изобличающие рвачей и кустарей-одинок. . . Молодого активного паренька заметили, обучили грамоте и дали в руки боевое перо: «Пиши, Аркаша».

Газета стала его профессией. В отличие от брата Давида, поступившего на истфак университета и вскоре ставшего

известным украинским поэтом, Аркадий дальше партийно-комсомольского образования не пошел, велосипедный завод и его газета были для него родным домом.



В редакции «Велодарника»

В первый день он дал мне для пробы задание написать критическую статейку. Факты были такие – я их записывал, не особенно разбираясь в существе дел: сборочный цех отстает от графика, смена мастера такого-то собрала столько-то машин при норме столько-то. Работу сборщиков тормозит рамный цех, который недодал столько-то рам для велосипедов В-110 и столько-то рулей для спортивных машин. Из этой совершенно непонятной мне белиберды я должен был сварганить разгромную статью и пригвоздить начальника рамного цеха т.Орака к позорному столбу.

– Это он виноват? – спросил я.

– А кто же! Ты что, не веришь мне? – взвился Аркадий.

(Этот Орак, как я потом я узнал, был постоянным объектом нападок газеты. Говорили, что в давние года они с Каневским крупно поругались, чуть ли не за грудки друг

друга хватали на партсобрании, и с тех пор рамный цех был притчей во языцех нашего славного «Велоударника». Мы избивали этого несчастного Орака при помощи самых ругательных слов и словосочетаний, допустимых тогда в прессе. Рисовали на него карикатуры в окнах «Заводского крокодила», клеймили в «боевых листках». Но никто из нас, теперь я это понимаю, не попытался разобраться в действительных трудностях цеха. И я в том числе, назвавший Орака «тормозной колодкой», сдерживающей мчащийся вдаль велосипед).

– Насчет «колодки» хорошо, – похвалил меня редактор. – Писать можешь. Только длинно, как будто бабушке в деревню. А ты представь, что даешь телеграмму. И за каждое лишнее слово нужно платить по две копейки. Сколько набегит, а? Вот походи и вычеркни все лишнее.

Я повыбрасывал длинноты. Он был доволен.

– Видишь, все ясно. Нужные слова остались. А всю галиматню выкинул. «Галиматня» было его любимым словом. В устном, конечно, употреблении.



(Немного отвлекусь и загляну вперед. Через много лет я обнаружил, что в театре иное мерило лишнего текста. Беляцкий, главный режиссер Харьковского ТЮЗА, вычеркивая слово за словом в моей пьесе для детей, говорил:

– Конечно, тебе жалко, над каждым словечком ты работал. Но ты же не хочешь, чтобы падали номерки.

– Какие номерки? – не понял я.

– От гардероба. Когда этим огольцам интересно, они смотрят на сцену, машинально зажав в кулачке номерок. А чуть дашь расслабиться, как пацаны начинают дергать девчонок за волосы или затевают потасовки друг с другом. При этом на пол летят номерки и шум такой, что иногда актеру трудно их перекричать.

Чеховский совет «Краткость – сестра таланта» оказался действительно и в журналистике, и в драматургии.)

Вторым сотрудником редакции велозаводской многотиражки был Самуил Китаин – невысокого росточка, с библейским смуглым лицом, корректор-выпускающий. Помоему, он закончил в Харькове газетный техникум. Ходил тяжело, бочком – причиной тому был горб и искривление позвоночника. Поэтому по цехам за материалом бегал только Аркадий. Я был нужен для того, чтобы избавить его, редактора, от этой не солидной уже для его возраста и положения беготни.

Производство велосипедов начало развиваться в Харькове после окончания гражданской войны. Эвакуированные из Риги полукустарные веломастерские Лейтнера обрели в таком промышленном городе как Харьков мощную базу и в 1924 году стали заводом. В те годы, когда не было ни «Жигулей», ни иномарок, спрос на веломашину намного превышал их выпуск. Строились новые корпуса, модернизировалось старое оборудование.

Незадолго до моего появления на ХВЗ был сдан новый сборочный цех. Под высокой стеклянной крышей извивался непростой путь сборки. Он начинался внизу, где на конвейер поступали покрытые лаком рамы, никелированные обода и рули. Затем наполовину собранный велосипед взмывал вверх, и там что-то доделывалось, довинчивалось и транспортная цепь, наконец, подавала готовую машину вниз, напрямик в упаковочный цех. Каждую минуту – готовый велосипед. Сюда приводили делегации передовиков с других заводов – полюбоваться чудом автоматике. В сборочном цехе, когда работал конвейер, всегда было празднично – музыка, белые халаты рабочих, декоративная зелень на стенах.

И сам сборочный цех был декорацией, за которой умело скрывалось старое, унаследованное от бывших мастерских производство. Тесные полутемные помещения без окон, продуваемые зимой и нестерпимо жаркие летом. В упомя-

нутом уже рамном цехе я полтора часа стоял у пылающей жаром печи – делал очерк о пайщике Василии Терентьеве. Этот уже немолодой мужчина зарабатывал себе каторжным трудом повышенную пенсию. То и дело, отвечая на мои глупейшие вопросы, он зачерпывал кружкой из ведра холодную воду, жадно ее поглощал, и она тут же выступала на его лице и шее крупными каплями пота. В лакокрасочном цехе я не мог «продержаться» и десяти минут – задыхался от лаков, растворителей и прочей химии. В шлифовальном цехе работали в основном мужчины. Многие из них, как я узнал потом, с уголовным прошлым. Работа была адская. От грохота шлифовальных и обдирочных станков разрывалась голова, абразивная и металлическая пыль густым тяжелым облаком оседала на станках, на изнуренных лицах рабочих.

На заводе был отдел техники безопасности, уполномоченные ТБ в цехах и на участках. Регулярно составлялись отчеты об улучшении условий труда. Выдавалось спецмолоко. Проводились медосмотры. Но рапорты большей частью были липовые. Вентиляция во «вредных» цехах зачастую не работала. Шлифовщики и обдирщики после нескольких лет работы уходили с эмфиземой или раком легких.

Наш «Велоударник» попытался как-то коснуться этой на самом деле большой темы, но тут же был остановлен цензурой. На заводе цензорские функции выполнял Григорий Моисеевич Гольбер, начальник механо-прессового цеха. Оттиск газеты, подписанный к печати редактором, я принес ему. Не надо было ехать в город и стоять там в очереди у цензорского окошечка. За сорок-пятьдесят минут Григорий Моисеевич, светлый ум и замечательный человек, успевал просмотреть обе полосы и приложить свой штамп с подписью. В основном все было гладко. Но когда мы попробовали копнуть поглубже, и именно условия труда, он мне показал свой цензорский кондуит – так называемые «Единые прави-

ла Главлита», согласно которым публикация данных о профзаболеваниях и их причинах была строго запрещена.

Помимо «своего» цензора редакция имела и собственную типографию, начальником которой формально числился я. Работало там четверо или пятеро. Два печатника, наборщик и верстальщик. Газету верстал Михаил Иванович Корниенко. Он и был до меня старшим по типографии, получал, наверное, надбавку, а я, выходит, лишил его этого. (Вечно я попадаю на чье-то тепленькое место!).

Михаил Иванович был веселый мужик. Чуть полноватый, с засаленным на животе фартуком и хитровой под усами усмешкой. Любил, на минуту оторвавшись от касс ручного набора, рассказать парочку анекдотов или солдатских баек. («Чтоб народ не спал» – пояснял он мне). Он пользовался авторитетом еще и потому, что был добытчиком зелья, без которого рабочий человек на Руси не может прожить.

Делалось это так. В типографии за собственные деньги сотрудникам завода и даже посторонним разрешалось напечатать (тоже, конечно, с разрешением цензора) автореферат диссертации. Будущий кандидат являлся обычно в типографию с тощей папочкой подмышкой и робко справлялся, с кем можно договориться о печатании брошюры. Стоимость ее он оплатил в бухгалтерии, вот квитанция.

Михаил Иванович долго рассматривал бумажку, вертел ее так и эдак в руках и возвращал посетителю. И тут начинался цирк, за которым, еле сдерживая смех, следила вся типография.

– Квитанция в порядке, все уплочено, – говорил Михаил Иванович, делая много значительную паузу.

Лицо будущего кандидата озарялось радостью.

– Значит, можно оставить вам папочку?

– А чего же... И папочку, и мамочку... Только вот что... Вы же над этим работали ого сколько, правда?

– Правда...

– И хотите, чтобы все чистенько было и аккуратненько? Не тяп-ляп?

Клиент не понимал, куда клонит этот хитроусый всесильный дядька.

– Так вот, голубчик, я вас должен предупредить, что шрифт у нас грязный, можете поглядеть.

Корниенко подходил к кассам набора и вынимал оттуда несколько литер.

– Возьмите, видите сколько грязи поналипало.

– Ужас! – восклицал диссертант, вытирая платочком руки.

– Можно подождать плановой промывки, – разводя руками, философствовал Михаил Иванович, – но ждать надо еще квартал.

– Да что вы? У меня через два месяца защита. А еще разослать надо... Помогите, выручите...

Наступал кульминационный момент,

– Выйдем-ка на воздух, уважаемый, может, что-нибудь и надумаем. – Вы же в лакировке работаете?

– Ну да.

– Спиртика принесите, мы сами промоем шрифт. Как академическая печать будет. Поняли?

Будущий кандидат ликует.

– Понял!

Михаил Иванович возвращается в типографию и, напевая в усы, продолжает укладывать литеры в верстатку. Буква за буквой, строка за строкой. Всем все ясно, глупых вопросов никто не задает...

На велозаводе я проработал около трех лет. Годы были непростые, переломные. После XX съезда пришло указание уничтожить все клише с изображением Сталина. Губы редактора дрожали, когда он, родившийся с этим святым именем на младенческих устах, произносил страшное сло-

во «уничтожить». Я выволок из шкафа все наше хозяйство, которым мы еще недавно украшали первые полосы газеты. Клише эти рассылал нам ТАСС-РАТАУ. Негативы лиц прессовались из пластмассы и поэтому назывались пресс-клише. Десятки портретов вождя – то в полувоенном френче, то в мундире генералиссимуса, то улыбающегося, то прищурившего мудрые глаза – все это, усевшись на полу, я крушил с каким-то тайным наслаждением. Через пару часов, когда заглянул в нашу комнату Каневский, только куча мусора осталась от вождя всех времен и народов.

– Якщо б він прокинувся, – в ужасе пробормотал Аркадий и ушел к себе. События разворачивались неудержимо. Тысячи зеков, уцелевших и доживших до амнистии, возвращались домой. В цехах завода, никого не боясь, бунтовали рабочие, матеря свое начальство. В зеленом уголке, возле упаковочного цеха, стояла композиция из белого гипса – Ленин и Сталин на скамеечке в Горках. В один из дней руки Сталина были обмазаны красной краской (ее было навалом в «лакировке»), на голове вождя красовалось мусорное ведро.

На улицах возле школ и магазинов валялись красочные портреты Сталина. Растоптанные и разорванные.

На Московском проспекте, недалеко от завода, стоял памятник бывшему вождю. Бронзовая фигура с протянутой рукой была установлена на высоком постаменте. Крановщик на рассвете подогнал свой автокран и поверг вождя на бrenную землю. Жаль, что имени этого отчаянного парня мы никогда не узнаем.

Когда я положил перед Каневским заявление об уходе по собственному желанию, он был ошеломлен. Ведь меня с таким трудом взяли на работу. В чем же дело?

– Мой сценарий, Аркадий, принят на «Мосфильме». Меня вызывают, я должен ехать.

Он обнял меня, пожелал мне счастливого пути.
– Если что...возвращайся в газету, – сказал он
«Если что» было. Но в газету я не вернулся.

«МОЙ ДРУГ ИЛЬЯ»



Сашенька. Одна в трехкомнатной квартире, где все напоминает о Геннадии. Словари на полке – политехнический, англо – русский, польский, латинский. На филфаке он с упоением занимался латынью, восхищаясь неумолимой логикой и стройностью этого языка, погибшего от бесноватых криков варваров. Эта страсть осталась и в послестуденческой жизни.

Тут же, на полке, ненужные, но бережно сохраняемые стопки журнала «Радио» – еще одно крыло его интересов. Казалось, что нашими основными филологическими дисциплинами он интересовался только для того, чтобы получить очередную пятерку в зачетке.

Своих жен и подружек мы называли именами с суффиксом «к»: Лидка, Зойка, Машка... Без тени пренебрежения, а просто так, по-свойски, по компанейски... Свою знакомую, а впоследствии жену, Гена величал «Сашенькой», приучил и нас к тому же – и при нем, и после его кончины мы обращались к ней с этим ласковым именем.

Мы сидим с Сашенькой в ее квартире, в большой комнате, «зале», и она неспеша, будто раздумывая, переворачивает картонные листы фотоальбома – на них пожелтевшие от времени картинки жизни. Будто выхватывает их из памяти и

рассматривает сегодняшними усталыми глазами.

Все как у всех. Знакомство. На скамеечке в городском саду. Пансионат «Кабардинка». Рождение «маленького». Гена везде с папироской (он курил вплоть до тех дней, когда оба легких были съедены раком). Худой, нескладный, угловатый, с язвительной усмешечкой в углу рта.

– А это вы с Геннадием после приезда из Москвы, помнишь? – указывает она мне на забытую фотографию, где два «джентльмена удачи», ухмыляясь, потягивают пиво на фоне фонтана.

И мы отлетаем мыслями и словами к тем благословенным дням, когда наш общий «друг Илья», придуманный нами, связывал нас с Генной Залюбовским на протяжении нескольких лет.

С чего все началось, интересуется Сашенька. И правда, стоит, наверное, задуматься. Хоть и трудно поймать ушедшую в никуда вереницу дней. Для меня, наверное, с того холодного мартовского вечера, когда, доцеловавшись уж не помню сейчас с кем, хоть не до первых петухов, так до последних трамваев – это уж точно, я поднимался в темноте своего подъезда на пятый этаж и уже на последнем марше вдруг брякнулся и упал на что-то мягкое, живое. Оно зашевелилось в темноте подо мною, вскрикнуло, загнуло матом (это враз успокоило меня), и я отскочил, щелкнув зажигалкой.

На ступеньках, припав друг к другу, в серых грязных фуфайках, полулежали две женщины. Головы их на вещмешках были до бровей обмотаны платками. Я понял: «реабилитированные» – так называли освобожденных после первой амнистии. Это слово только появилось в нашем лексиконе.

Я вынес по просьбе этих двух женщин воды, мама, проснувшаяся при моем приходе, сделала два бутерброда с колбасой. В свете свечи они жадными губами вгрызались

в мякоть французской булки. На меня поглядывали молча, нехотя, косыми волчьими взглядами. Я был чистенький, наглаженный, весь дышал любовью и недавними объятиями. Они же были другими и чувствовали свою отчужденность. Мир, огражденный вышками и колючей проволокой, еще стоял за их плечами. Из нескольких слов, сказанных этими женщинами и с трудом разобранных мною, я понял, что ехали они в товарняках из Воркуты, а теперь добираются к своим, на Луганщину.

Я рассказал Геннадию о ночном эпизоде. Он был более осведомлен о запретной зоне, в одночасье раскрывшей свои ворота в вольный мир. Мы говорили о ГУЛАГе, о миллионе «эзков», томившихся и умиравших в зонах, лагерях, тюрьмах. Целая страна, спрятанная от нас, журналистов партийной печати, пишущих о победах социализма, вдруг приоткрылась своей страшной изнанкой – этими бредущими из неволи мужчинами и женщинами с вещевыми мешками за спиной.

При нашем разговоре с Геней был его новый знакомый. Словоохотливый и контактный Гена Залюбовский, собкор республиканской газеты «Радянська культура», день ото дня прирастал новыми знакомыми, переполнявшими его бесчисленные записные книжки.

Марк Иофан был одним из них. Он числился сотрудником Харьковского филиала какой-то инженерно-геодезической «конторы». Но на самом деле больше занимался театральными и литературными делами – что-то делал для «Огонька» и других московских изданий, работал над сценарием для Киностудии научно-популярных фильмов.

Марк был коренным москвичом, из славного рода Иофанов, глава которого всемирно известный архитектор, автор павильонов СССР в Париже и Нью-Йорке Борис Михайлович Иофан приходился нашему Марку чуть ли не родным

дядей.

За пивом, за поллитровочкой с лещиком в томате наши разговоры в основном крутились вокруг политики и кино. Отечественная кинематография, еще не перестроившаяся после смерти Сталина, ползла на уровне 7-10 фильмов в год, по инерции прославлявших колхозы, шахтеров или великих российских деятелей. Но признаки «оттепели» исподволь появлялись то в толстых журналах, то на художественных выставках, то в кино. Робко возникали в прокате зарубежные картины новой волны – польские, венгерские, даже итальянские. В клубах на окраинах города показывали в синхронном переводе потрясающий фильм Росселини «Рим – открытый город». Сплав документальности и художественности был тем новым приемом, которым все мы восхищались. И все же «Один день Ивана Денисовича», мощно открывший новую эру, был еще только впереди.

Для того робкого переходного времени взгляды у нас с Генкой были, наверное, «продвинутыми», как сейчас бы сказали. Слушали «голоса», читали польские журналы «Экран» и «Кино». Иофану импонировали, надо полагать, эти молодые ребята, журналисты, которые, как он считал, обречены на прозябание в машиностроительном железобетонном Харькове.

– Послушайте, старички, – сказал он однажды, – а отчего бы вам не написать киносценарий. Кино пробуждается, нужны новые идеи, а у вас их навалом.

Мы расхохотались. Это было, действительно, смешно – взяться за дело, которому нас никто не учил. Чуть!

– А чем вы рискуете? – убеждал нас Марк.

– Да мы не знаем даже, как пишется эти сценарии.

– Пойдите в Библиотеку Короленко, там наверняка есть сборники сценариев. Почитайте журнал «Искусство кино». И я уверен, напишете. Только сначала не сценарий, а заяв-

ку, проспект. Краткое содержание вашего будущего фильма. Можете один эпизод расписать полностью, а остальное дать пересказом. Пишите. Если что – я подправлю.

– А о чем?

– Вот это уже ваша забота. Помните только, что за банальный сюжет вас не купят. Выбросят в корзину. Должно быть что-то смелое, новое... Чтобы ахнули и вздрогнули.

Мы оба работали в своих газетах, я в многотиражке вело-завода, Гена в республиканской. День был полностью занят. Собирались по вечерам – то у него, то у меня. У обоих крошечные комнаты, рядом топчутся родители, телевизор – попробуй разгони фантазию! Сидели рядом как заговорщики, на кухне, пробалтывая какие-то пришедшие на ум мысли, сюжеты. В конце концов журналистское чутье наткнулось на тему, подсказанную самой жизнью. Возвращенцы, амнистированные, тени страшного прошлого, бредущие по городам и весям в свои ждущие или не ждущие их дома. Видимо, ночная встреча не уходила из головы.

Сам собою стал слагаться нехитрый сюжет (не были же мы мастерами, сами понимаете!). Два друга Алексей Степняк и Илья Машков, студенты. Оба влюблены в одну девушку (без этого трафарета соцреализма еще трудно было обойтись!). Внезапно начавшаяся война бросила их в свое горнило. Оба ранены, но остались живы. Светлая довоенная любовь продолжается. Встреча нового года, Алексей к слову рассказывает, как заградотряды НКВД стояли в тылу наших войск и преграждали им путь к оступлению. «Не от них ли ты получил пулю, Лешка?» – насмешливо бросил один из друзей. Вспыхнула драка, а на следующий день Алексей Степняк был арестован. Суд, десять лет без права переписки, и через годы лагерной каторги – реабилитация. Сценарий должен был начинаться с конца. Возвратившийся «зэк» Алексей Степняк узнает, что его любимая девушка стала

женой Ильи Машкова, процветающего профессора политэкономии. Оба друга встречаются, постепенно Алексею становится понятно, кто настучал на него. Илья приперт к стене. Жена уходит от него, не желая прощать подлость мужа.

Такая вот родилась заявочка. Сегодня этот сюжет покажется довольно наивным и банальным, но тогда ...Я отпечатал ее в нескольких экземплярах на своей старушке «Ундервуд», и мы двинулись к Марку. Жил он в гостинице «Харьков», в отдельном номере. Разбросанная по стульям одежда, скомканная постель, тонкий запах одеколона, отнюдь не «тройного». Марк был гладко выбрит, в руке стакан крепко заваренного чая, на лице приветливая улыбка.

– Давайте, давайте, ребята. Жду с нетерпением.

Он стал читать, быстро переворачивая страницы. Быстро, быстро, одну за другой. Неужели сотворили полное фуфло?

Мы с Залюбовским закурили. Взял папироску из нашей пачки и Марк. Дочитал последнюю страницу, посмотрел молча на одного, на другого. Длинная мхатовская пауза.

– Вы что, сумасшедшие? – спросил он глухо. – О чем написали? Отдаете себе отчет? Кто из писателей, из наших классиков, тронул эту тему? Шолохов? Или Леонов? А ведь им все дозволено.

– Значит, боятся. Дрожат за свои дачи и машины. Ждут команды.

– Вот-вот. А вы решили не дожидаться, да? Два смелых оловянных солдата. И не страшно?

– Страшно. Только ты же сам наставлял, чтоб смелее.

Он рассмеялся.

– Да здорово это ребята, здорово! Дух захватило, честно. Надо немедленно посылать на «Мосфильм». Будь что будет!

– Может, стилистически что-нибудь поправишь?

Но он уже не слышал нас, разыскивая в затрепанной толстой записной книжке почтовый адрес «Мосфильма». В тот

же день «Мой друг Илья» отправился в Москву.

Жизнь продолжалась. Неделя, месяц. И вдруг телеграмма из Москвы на каком-то особом, чуть ли не правительственном бланке, Генке и мне:

«ПРИГЛАШАЕТЕСЬ СТУДИЮ МОСФИЛЬМ ВОПРОСУ СЦЕНАРИЯ МОЙ ДРУГ ИЛЬЯ. НЕМЕДЛЕННО ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ ВЫЕЗД. ЗАМДИРЕКТОРА ЧЕКИН».

Далеким фейерверком озарило лица – ура! Марк поздравлял, плакал, терся щетиной о наши щеки. Родители провожали, как на фронт.

Решили ехать автобусом. Тогда с площади Тевелева ходили красавцы «Икарусы». Утром садишься – поздно вечером в Москве. Никаких постелей, полный обзор за окном, да и дешевле, чем поездом.

Дали ответную телеграмму: день прибытия и номер телефона московской квартиры.

На следующее утро, первое московское – звонок. Приятный мягкий голос. Юрий Вышинский, режиссер вашей картины (подумайте, уже есть режиссер! Ну и темпы!). Буду ждать вас у станции метро «Киевская», оттуда вместе поедем на студию.

В троллейбусе легко и весело знакомимся, рассказываем друг о друге. После окончания ВГИКа в 1955 году Юра снял детективный фильм «В квадрате 45» по первому сценарию тогда еще никому не известного Эмиля Брагинского. Лента подверглась разгрому, ибо «не отражала трудовых подвигов советского народа».



(Небольшое примечание по ходу нашей истории. Фильм этот был запущен, когда Юра был племянником всесильного в те годы Андрея Януарьевича Вышинского, кандидата в члены Президиума ЦК КПСС.

! *А выпущен в прокат и обруган критикой после утраты этим монстром своей политической власти. Может быть в этом заключалась хитроумная игра руководства «Мосфильма» с нашей заявкой – пусть пленничек разгребает дядины нечистоты).*

Ногда, в троллейбусе, мы еще ничего об этом не знали. Сочувствовали Юре, который год уже находился в простое. Заявку на «Илью» он прочитал с интересом, будет счастлив, говорил он, если его утвердят постановщиком фильма, он уже набросал примерный список актеров...

На проходной студии лежали выписанные на нас пропуска, мы с трепетом взяли их и пошли вслед за Юрой Вышинским по всемирно известной советской фабрике грез.

Бесконечные изломанные коридоры главного корпуса довели нас до обставленного модной полированной мебелью кабинета зам. директора киностудии Игоря Вячеславовича Чекина. Вот он, наш неведомый благодетель – сухопарый, рыжеватый, с острым орлиным взглядом. Он приветливо улыбнулся, привстал и протянул нам поочередно бескровную холодную руку. Все дальнейшее происходило так, будто за ним кто-то гнался. На огромном столе с бумагами, папками всех цветов и размеров, его порхающие, с закатанными рукавами руки мгновенно отыскали нашу заявку. Глаза ее просмотрели, паркеровская авторучка сделала несколько стремительных росчерков, другая рука в это время нажимала кнопку звонка. Наперебой трезвонили разноцветные телефоны, гудели два вентилятора – на потолке и сбоку у окна, вбегали и выбегали сотрудники. Не удивительно, что через полчаса этой «самопогони» мы уже стояли у окошечка кассы и расписывались в получении аванса. На следующий день серебристый Икарус увозил нас в Харьков...

Полученные деньги позволяли нам безбедно жить в течение многих месяцев. Оформили отпуск без содержания на

своих работах, мама Геннадия Нина Гавриловна дала ключи от своей комнатухи, где в дневное время можно было «творить». Начали мы с того, что разыскали нескольких людей, вернувшихся из лагерей. Никто из них не верил, что об их судьбе может быть снято кино. Затравленные и забытые, эти бывшие «зэки» вообще отказывались вначале говорить на эту тему. Приходилось терпеливо выуживать то, что нам требовалось. Постепенно голый сюжет обрастал подробностями, работа продвигалась.

Комнатуха, в которой мы работали, размещалась на лестнице черного входа, на шестом этаже громадного дома. Цементный пол, восемь квадратиков жилья. Стол, кровать, шкаф. И даже газовая плита. Из окна вниз открывался каменный двор – колодец, где внизу, у гастронома, валялись побитые ящики и гниющие фрукты-овощи. Утром в комнате было прохладно, во второй половине дня сюда закатывалось палящее солнце. Ровно в пять часов снизу раздавался нежный зов: «Гена-а-а!». Это молодая жена требовала моего соавтора отвлечься от дел творческих, и он спешил к Сашеньке.

Выслали сценарий, ждем. По редакциям областных газет, где работали наши друзья, коллеги, уже прошел слух про наши киношные «шуры-муры»... Кто завидовал, кто пытался хитренько разведать, каким образом удалось двум «пижонам» пробиться на легендарную киностудию. Мы отшучивались, уводили разговор на другую тему – нам самим это головокружительное сальто-мортале напоминало скорее сказку или сон.

Снова вызов на студию. Значит, не сказка, не фейерверк – буднично и по-деловому сообщали день худсовета, авторов просят присутствовать. Опять Икарус, опять Мосфильм, сидим в небольшом холле, ждем начала худсовета. С нами Юра Вышинский и редактор фильма Леня Нехорошев. Они

взволнованы больше чем мы. Юра бегаёт в буфет за кофе, Леня что-то пишет в блокноте, зачеркивает и снова пишет. То и дело в дверях холла появляются какие-то личности, кивком, как бы невзначай указывают на нас и тут же исчезают.

Оказывается уже несколько дней студия бурлит, ожидая назначенного худсовета. Машинистки размножили сценарий, раздали лишние копии своим друзьям. Его читают и обсуждают десятки людей. Прослышав, что авторы уже на студии, какие-то незнакомцы заглядывают в холл, чтобы посмотреть на нас. Подошел познакомиться Григорий Чухрай. Он только что сдал «Сорок первый», Храбровицкий пишет сценарий знаменитого «Чистого неба». Тема примерно наша. Поэтому и его и всех интересует один вопрос: что скажет худсовет? Запустить или зарубить? Пройдет первый блин или не пройдет?

Ареопак старейшин собирается в кабинете генерального директора студии Ивана Александровича Пырьева. За большим столом всемирно известные Сергей Юткевич, Иосиф Хейфец, Константин Юдин, Юлий Райзман... Мы не слышим их весомых красивых слов, за каждым выступающим встают их великие картины. Боже ты мой, Гена, Зорик, до чего же мы дожили: эти небожители всерьез обсуждают нашу с тобой «пробу пера»!

Каждый выступающий делает свои замечания, дает рекомендации. Их много, разных, подчас противоречивых. Но, дорогие мои, цвет отечественной кинематографии, ведь если вы даете поправки, значит в целом вы сценарий одобряете? В принципе – да? Благословляете – да? У Чекина, в котором дипломат подавляет сценариста, заготовлен проект решения худсовета: **«Сценарий доработать с учетом высказанных рекомендаций и запустить в производство»**. Когда? Неизвестно. Но тема прошла.

Остальное – дело времени.

Мы шли по нескончаемым коридорам «Мосфильма», принимая на ходу поздравления от совсем не знакомых людей. Юра Вышинский показал нам список актеров на главные роли: Урбанский, Зельдин, Катин-Ярцев и т. д. и т. п. В ресторане Киевского вокзала это радостное событие было должным образом отмечено. Тосты, поцелуи, но пасаран!

Чекин решил, что доработку лучше проводить в Харькове, вместе с редактором. В октябре 1956 года Леня Нехорошев был командирован в Харьков. В его блокноте были скрупулезно выписаны те замечания, которые нам предстояло учесть при доработке сценария.

В номере гостиницы «Харьков», окна которой выходили на площадь Дзержинского, собирались ежедневно. Править уже написанное было скучно. Присутствие третьего человека, вобщем-то мало знакомого и занудного, не вдохновляло. Помимо всего прочего отвлекал и гром военного оркестра – каждое утро части харьковского гарнизона готовились к приближающемуся октябрьскому военному параду.

Приезд Лени Нехорошева в Харьков совпал с «контрреволюционным переворотом» в Венгрии. Подспудно эти события назревали с весны 1956 года. Венгерская интеллигенция, студенты слишком буквально восприняли идеи десталинизации. Джинн, неосторожно выпущенный Хрущевым из бутылки, грозил всей социалистической системе.

Инстинктивно мы чувствовали, что венгерская революция отзовется на нашей судьбе. Каждое утро мы начинали с просмотра свежих газет, купленных на первом этаже гостиницы. За разрушенным памятником Сталину в центре венгерской столицы последовали линчевания сотрудников госбезопасности. Войска под командованием генерала Петра Лащенко перешли советско-венгерскую границу. Хрущевская оттепель была раздавлена гусеницами советских

танков.

С тревогой в сердце проводили Леню Нехорошева. Прошли октябрьские праздники. Наконец, 12 ноября звонок с «Мосфильма».

Чуть заикаясь, дрожащим тихим голосом Леня Нехорошев сообщил, что принято решение о прекращении производства картины «Мой друг Илья». Одновременно, тем же приказом, как мы позднее узнали, были закрыты фильмы «Не хлебом единым» по В. Дудинцеву и еще 10 или 12 картин. Помирать в хорошей компании было легче, чем в одиночку. Да и договорную сумму студия выплатила нам полностью. Но разве в этом только дело?

Спустя много лет мне случайно пришлось встретиться с режиссером, который окончил ВГИК в брежневские времена.

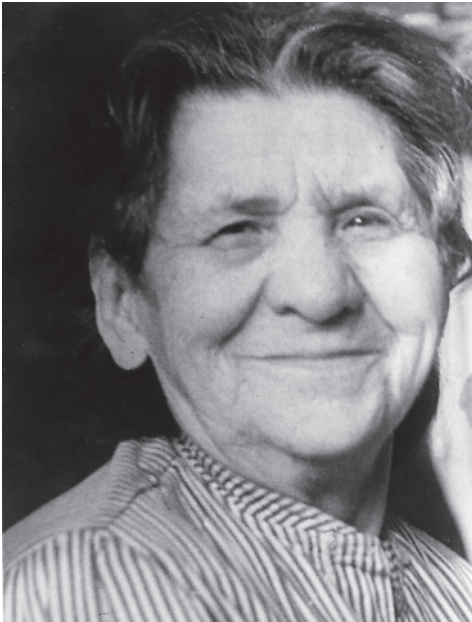
– «Мой друг Илья»? Так назывался ваш сценарий? Нам о нем рассказывали в курсе «Советская кинематография после разоблачения культа личности». Рано вы выскочили. «А» власти уже сказали, а вот «Б» произнести испугались... Яблони зацвели, но весна оказалась холодной. Вот и облетел с веток ранний цвет...

Еврейский Мир



ЛЕТЕСТКИ ЗОЛОТОГО ПЛАМЕНИ

Свечи в нашем доме зажигались только на Новый год. Огоньки, пляшущие на зеленых игольчатых лапах, веселили детскую душу. Но так недолго!.. Откуда мне, мальчишке, было знать в ту пору, что есть и другие праздничные дни, когда свет добра и милосердия должен в радушно



Бабушка Агнесса

открытые двери каждой семьи?

И по субботам, и на Хануку, и в дни Пурима унылый каждодневный свет раскаленной вольфрамовой нити освещал нашу обычную трапезу. Ибо мы были совками, жили в совковой коммунальной квартире, где, кроме нас, было еще семь совковых семей, для которых праздниками были только дни, отмеченные красными цифрами календаря.

Лишь бабушка Агнесса не желала слышать маминых увещаний и проявляла рискованное вольнодумство. Ходила в синагогу, писала своим подругам поздравительные открытки, даже не пряча в конверты свои послания, написанные незнакомыми кучерявыми буквочками, и категорически не притрагивалась к пище в судный день «йом кипур».

Помню, как в предпасхальные дни бабушка священнодействовала, выпекая втайне от соседей запретную в те годы мацу.

Как раскатывала скалкой тесто, проводила на нем специальным зубчатым колесиком ровные бороздки и испекала в духовке тонкие ломкие коржи. Делалось все это ночью, пока вся коммуналка спала, чтобы никто, не дай Бог, не настучал, что в семье советских медицинских работников Сагаловых отмечали религиозный праздник.

И были плотно закрыты двери. И горела по настоящию Бабушки свеча. И был праздник Песах. Бабушка усаживала меня на колени и тихонько пела мне какие-то необычные и непонятные песенки – то веселые, то печальные, вовсе не похожие на те пионерские, которые мы браво распевали в школе.

«Аф ун припечек брэннт а файер унд ин штуб из гейш», – пела бабушка Агнесса.

– Не забивай голову ребенку! – кипятилась мама. – У него в русском диктанте две ошибки.

– «Их об дих цу фил либ!» – пела, не сдаваясь, Бабушка, глядя меня по коротко стриженной пионерской голове, и тут я уже точно понимал, что она поет о том, как любит меня.

Но вот ушла из жизни бабушка Агнесса, и никто уже не возжигал благостную свечу в канун праздника. Померкли в памяти ее песенки, лукавые и мудрые присловья. Навсегда, казалось, растаял тот дивный свет, который лился из ее кротких и любящих глаз.

Круговерть будней, литературная и театральная работа запорошили повседневными заботами далекие образы детства.

И вдруг в одночасье они выплыли из тьмы. Будто живые теплые волны, поднявшиеся со дна холодного свинцового моря. Будто только и дожидались того часа, когда будут нужны.

Должен был я писать тогда пьесу для Харьковского камерного еврейского театра. Мучился и уверял себя, что не смогу, ибо ничегошеньки не знаю о той жизни, о тех еврейях, про которых собирался писать.

И тогда вспомнилась мне бабушка Агнесса, улыбочатые ее словечки, веселые и грустные припевочки, и будто снова возгорелись и засияли передо мной негасимые лепестки золотого пламени.

ТРЕТЬЯ ЖЕРТВА



Александр Хазин

Анна Ахматова была названа «блудницей и монахиней, у которой блуд смешан с молитвой».

Михаил Зощенко заклеен как «пошляк и подонок в литературе».

Андрей Александрович Жданов, главный идеолог страны, великолепно владел площадной бранью. Бил прямой наводкой по целям, указанным великим вождем. Это был август 1946 года.

Вспоминая одно из мрачных событий нашей истории – «Поста-

новление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», явившееся зловещим сигналом к первой послевоенной «вырубке» творческой интеллигенции, обычно называют упомянутые мной два великих имени. Но была и третья жертва, испытавшая, наряду с этими двумя, и черную клевету, и принуждение к публичным покаяниям, и исключение из писательского союза, то есть самую настоящую гражданскую смерть.

И в постановлении, и в докладе Жданова на собрании партийного актива Ленинграда наряду с Зощенко и Ахматовой был назван поэт и драматург Александр Хазин, наш земляк, половина жизни которого прошла в Харькове.

До войны он закончил Харьковский электротехнический институт, но не стал инженером, беспечно свернув на полную неожиданностей тропу поэта-сатирика. Один за другим выходили в свет его сборники «Дружба», «Норд-Ост», «Литературные пародии». С началом войны Хазин уходит на фронт корреспондентом армейской газеты «Знамя Родины». Воевал под Новороссийском, был ранен, лежал в госпитале... Все увиденное своими глазами и прочувствованное собственным сердцем, отразилось в сборнике военных стихов «Земляки», изданном в 1945 году.

Даниил Гранин, хорошо знавший Хазина и друживший с ним, вспоминал:

«Он вернулся с войны веселым, счастливым, он сыпал шутками, стихами, люди тянулись к его доброму юмору, вокруг него всегда празднично кипело, вспыхивали розыгрыши, экспромты...»

Не изменяя поэзии, Хазин успешно дебютировал в драматургии (сценки, монологи, пьеса в стихах «Второе свидание»). Особенно удавались ему пародии. Одна из них – «Возвращение Онегина» была опубликована в журнале «Ленинград». Она-то и стала роковой...

Чем же не угодил Александр Хазин «серому кардиналу» от идеологии?

«Смысл пасквиля, сочиненного Хазиним, – утверждал с высокой трибуны Жданов, – заключается в том, что он пытается сравнивать современный Ленинград с Петербургом пушкинской эпохи и доказывать, что наш век хуже века Онегина:

**В трамвай садится наш Евгений.
О бедный, милый человек!
Не знал таких передвижений
Его непросвещенный век.
Судьба Онегина хранила-
Ему лишь ногу отдало,
И только раз, толкнув в живот,
Ему сказали: «Идиот!»
Он, вспомнив древние порядки,
Решил дуэлью кончить спор,
Полез в карман, но кто-то спер
Уже давно его перчатки.
За неимением таковых
Смолчал Онегин и притих...**

И, приведя эту крамольную цитату, главный идеолог и палач мракобесия обрушивает на «пошляка» Хазина не подлежащий обжалованию приговор: «Как же могла редакция «Ленинграда» проглядеть эту злостную клевету на Ленинград и его прекрасных людей? Как можно пускать хазиных на страницы журналов?»

Помню (в ту пору мне было шестнадцать), как помятый экземпляр журнала со стихами Хазина мы, школяры, украдкой передавали друг другу. Смеялись – классическая «онегинская строфа», блестяще стилизованная автором па-

родии, была наполнена знакомыми малоприятными реалиями нашего времени. Весело, непринужденно, остроумно и без всякой злости (Хазин вообще был по натуре человеком добрым и легким) поэма высмеивала многие нелепости послевоенного быта. А ведь какие ярлыки из партийно-разносного лексикона были навешены на харьковского поэта! И «клевета», и «гнилой замысел», и «шельмование Ленинграда», и «пустое зубоскальство»...

Через несколько дней после выхода в свет постановления Хазин уехал из Харькова. Куда – об этом никто тогда не знал. И поступил мудро, ибо в Харьковской писательской организации, членом которой состоял Хазин, «со всей большевистской прямоотой» стали выискивать и громить местных «злопыхателей», «клеветников», «проповедников наплевизма и обывательщины» (словечки-то какие, изобретенные партийными языкотворцами!). Досталось тогда и Игорю Муратову, и Олеся Донченко, и Леониду Юхвиду. Помянуты были и «хулиганские стишки некоего Чичибабина», ходившего тогда в литстудийцах.

Куда же скрылся Хазин? Опальный поэт, как это ни странно, на первый взгляд, нашел себе убежище... в Ленинграде. Именно там, где у него было немало истинных друзей, а враги вряд ли знали его в лицо, он мог чувствовать себя в относительной безопасности. Но как жить дальше, чем кормить семью? И вообще – не писать больше? Можно ли было это представить? Ждановский «выстрел» подсек его на взлете.

«Двери редакций, издательств испуганно захлопывались перед ним. Театральные завлиты молча разводили руками... Не только имя его стало запретным, но боялись всего того, что он писал, - все смешное было опасным. А много он писать не мог, не умел, таков был склад его таланта, редкий,

надо сказать, род дарования в русской нашей многострадальной литературе.» (Д. Гранин).

И все же он родился счастливым – так о нем говорили друзья. Когда, казалось бы, были потеряны все надежды на то, что он каким-то чудом «выплывет на поверхность», нашелся единственный в стране человек, который не побоялся взять к себе на работу «клеветника» и «злопыхателя» и вернуть ему литературное имя. Этим мужественным человеком был кумир Ленинграда и любимец всей страны Аркадий Райкин. Став заведующим литературной частью Театра миниатюр, Хазин доказал всем, что годы опалы не сломили его талант. Афоризмы и остроты Хазина, произнесенные устами райкинских персонажей, разносились по всей стране. По сценарию Хазина был поставлен эстрадный спектакль «Волшебники живут рядом». Есть в нем небольшая сценка «Юбилей», где Райкин изображает важную номенклатурную единицу, которая руководит всем и вся: «В искусстве я долго продержался. Ох, сколько по моей вине не вышло хороших книг, не поставлено интересных пьес. Сколько стихов погибло, сколько фильмов не появилось...» Так писатель-сатирик, в рамках дозволенного, рассчитывался со своими хулителями единственным оружием, которым он владел – смехом.

Живя в северной столице, Хазин не забывал родной город. В один из своих приездов в Харьков он зашел в театр юного зрителя, где я тогда служил заведующим литературной частью. В планах ТЮЗа была хазинская пьеса «Артем» («Пепел Клааса»), которую хотел поставить главный режиссер театра Л.Хайт. В то время на сцене театра шел наш с Хайтом спектакль «Последние письма».

– Спектакль ваш, ребята, сильный, и мне понравился, – сказал Хазин. – Поэтому долго не проживет. Простите за мрачное пророчество. Рад буду, если оно не сбудется.

К сожалению, сбылось... И хоть не было уже в те времена Андрея Александровича Жданова, но заплечных дел мастера его выучки еще крепко сидели в обкомах и ЦК. «Последние письма» были запрещены, затравлены в печати. Чего только на нас не клеили: и «клевета на армию», и «искажение истории Отечественной войны», и «дегероизация»... Хаит уехал в Москву, в театр Образцова. Хазинская пьеса так и не была поставлена.

БЫЛ ТАКОЙ ОБЫЧАЙ НА РУСИ...

В совковые времена был у нас, добропорядочных граждан «одной шестой», тайный грех. Предавались мы ему обычно в вечерние часы, для чего уединялись в наитишайшем уголке своего жилища, в туалете, с транзисторным другом в руках.

Скользя стрелкой настройки по шкале «ВЭФа» или «Москвы», а то и крутой «соньки», мы пробивались сквозь жужжалки и глушилки к Мюнхену, Лондону, Нью-Йорку. Чтобы оттуда услышать, что же творится рядом – в Москве, Киеве, Ташкенте... Был, как говорится, такой обычай на Руси – вечерами слушать Би-би-си...

Причем, слушали все: инженеры и пенсионеры, студенты и диссиденты, врачи и ткачи, профорги и парторги. Но в тайном грехе никто друг другу не признавался. Ведь за слушание «вражеских голосов» можно было и с работы полететь, и партбилета лишиться или, чего доброго, два-три годика схлопотать в местах не столь отдаленных...

Вспомнился в связи с этим один курьез, о котором мне рассказал мой московский знакомый, кандидат медицинских наук Анатолий Бритов.

В 1970 году он, тогда еще молодой врач, работал в кардиологическом отделении той больницы, куда с обширным ин-

фарктом «скорая» привезла Аркадия Исааковича Райкина. Не тяжелейшие, изнуряющие московские гастроли с ежедневными спектаклями довели великого артиста до сердеч-



ного кризиса. А, как сейчас стало известно, вызов в ЦК с требованием убрать «двусмысленные намеки» из концертной программы. Райкин всячески сопротивлялся, доказывал, При этом, конечно, волновался и не мог сдерживать своих эмоций. И, как результат, сильнейший стресс, приведший к инфаркту. Состояние его было критическим. Врачи делали все

возможное для спасения жизни великого артиста.

В один из дней Толя, в то время недавний выпускник медицинского института, был дежурным по отделению. Вечером, около девяти часов, позвонил заведующий отделением.

– Скажите, Толя, что с Райкиным?

Толя назвал цифры кровяного давления, сообщил данные кардиограммы.

– Когда делали ЭКГ? - допытывался шеф.

– Часа полтора тому назад.

– А как он сейчас? Подойдите немедленно к нему и посмотрите. Я не кладу трубку.

Толя быстро сбежал в реанимацию и, вернувшись в ординаторскую, доложил:

– Райкин спит.

– Это точно? Вы проверили?

– Не волнуйтесь, все под контролем.

– Учтите, Толя, это очень важно. Я могу довериться вашим словам?

– Заверяю вас: Аркадий Исаакович спит.

– Заходите к нему в палату каждые полчаса. И ежели что – звоните.

Минут через двадцать Толю снова позвали к телефону ...На сей раз на проводе был главврач. И тот же вопрос:

– Что с Райкиным?

– Стабильно, недавно заснул.

– Когда это «недавно»?

– Около часа назад.

– Проверьте, я подожду.

Толя снова помчался в реанимацию и доложил главврачу. Но звонки не прекращались. Звонил профессор кафедры, заведующие другими отделениями больницы.

Бритов понимал, конечно, что об инфаркте Райкина, спектакли которого были отменены, известно уже всей Москве. Но ведь как сговорились – именно в эту ночь сыпались, один за другим, тревожные вопросы: «Жив? Точно? Вы уверены?»

Утром, сменившись, Толя Бритов пришел домой. Вопрос жены, прямо в дверях, сразу же объяснил причину телефонных звонков.

– Что с Райкиным, Толя? А то по «Голосу» передали о его смерти.

...– Так я вычислил всех, кто слушал «вражеские голоса», – с улыбкой заключил свой рассказ Толя. – А Аркадия Исаковича мы все же поставили на ноги. Для новых спектаклей и будущих боев с ЦК.

К Л Е Щ И

Леня Бубер (имя и фамилия изменены) был красивый мальчик с нежным лицом и ласковыми тихими глазами. Мы учились с ним на отделении журналистики, но на разных курсах. В перерыве между лекциями или в нашей студенческой столовке я всегда видел его в окружении девиц. Думаю, что им нравились не только ленины лицо и глаза, но и мягкий завораживающий голос, поставленный природой баритон. Недаром ведь говорят, что женщины любят ушами. Он был ведущим на наших концертах, некоторое время читал «Студентські новини» на университетском радио.

По распределению Леня попал в Россию, в Кемеровскую область, и на несколько лет исчез из поля зрения. Общих знакомых у нас не было, и я ничего не знал о его судьбе. И вдруг, проходя по аллее городского сада, ведущей от памятника Шевченко к Госпрому, я услышал, как кто-то громко окликнул меня по имени. Я обернулся. На скамейке сидели две женщины с детьми и пожилой мужчина в шляпе из молочного цвета соломки. Видя мое замешательство, мужчина встал и подошел ко мне.

– Привет, Зиновий.

Это был Леня Бубер. Неузнаваемый Леня.

Багровое, в морщинах лицо. Жалкая улыбка беззубого рта. Особенно искажалось его лицо при подергивании века. Передо мной стоял пожилой больной человека. А ведь было ему тогда лет двадцать шесть – двадцать семь.

Мы нашли свободную скамейку, сели.

Виной всему был энцефалитный клещ. Леня подхватил его в таежном поселке, куда поехал делать радиорепортаж. Потом уже он вспомнил, что большинство тех, кого он интервьюировал, были в куртках, головы закрыты косынками или капюшонами. А он, городской харьковский мальчишка,

поехал в легкомысленной «бобочке» и, конечно, подхватил ядовитого паразита.

Несколько клещей впились в его тело – в шею, в голову.

– Больницы – одна, потом другая, всяческие медкомиссии, а в результате инвалидность третьей группы, – рассказывал Леня. – Поджелудка барахлит, сижу на диетических супчиках. А самое главное – с башкой не порядок, памяти нет совсем. С журналистикой пришлось расстаться еще там, в Кемерово. Возвратился в Харьков, сижу на шее своих стариков. Такое вот гадство, выть хочется.

Мы попрощались. Я начал думать, как помочь ему. Леня мог выполнять теперь только несложную ручную работу. Позвонил на завод «ФЭД», где знакомая работала в многотиражке – может быть, нужен человек для работы на складе. Обещала разузнать, но ничего не вышло: с высшим образованием на рабочую должность не брали.

Отец мой работал заведующим первым в Харькове магазином оптики на Пушкинской. Стекла надо было подгонять к оправам, для чего в мастерской при магазине стояли маленькие станочки. По моей просьбе отец взял Леню Бубера учеником оптического мастера.

Руки у него были хорошие – он быстро освоил нехитрую свою специальность. Отец был им доволен. По его протекции Лене сделали зубной протез, но от курса интенсивной терапии он отказался.

– В Харькове медицина все-таки выше, чем в Кемерово, да и медикаментами я могу помочь, – убеждал его отец. Но Леня упрямо стоял на своем.

Однажды – после большого перерыва – мы с ним встретились на дне рождения нашей общей знакомой. Девушка ему давно нравилась, я это знал.

Но теперь Леня ничем не выказывал своей скрытой симпатии. Примостился на краю стола и – я заметил – то и дело

подливал себе в бокал красного домашнего вина из стоящего перед ним графинчика.

Так получилось, что мы вышли вместе и неспеша побрели по сонным улицам, засыпанным мокрыми осенними листьями. Стеснительное молчание за столом сменилось у Лени желанием вытрепать душу. Когда-то, в дни студенческой юности, Катя – так звали сегодняшнюю именинницу – была одной из тех, кто строил ему глазки в универе, писал на лекциях смешные записочки и явно намекал на нечто большее, чем просто дружба. Но тогда он, красивый и избалованный женским вниманием, не замечал катиных «подзаходов». Теперь же, изуродованный болезнью, понимал, что даже думать о ней не имеет права.

– Ты напрасно отказываешься обследоваться в Харькове, – сказал я. – Насколько мне известно, у нас здесь хорошая школа инфекционистов и невропатологов.

– На кой черт мне эти инфекционисты и невропатологи! – вдруг с неожиданной для него злостью выкрикнул он. – Никакие клещи меня не кусали, я все наврал. Чтоб не лезли в душу – что да почему. Я расскажу тебе, только никому, понял?

Был январь 1953 года. Леня работал в кемеровской молодежной газете – литсотрудником в отделе культуры и спорта. В это время в стране разразилась очередная антисемитская кампания – «дело врачей». Центральные газеты пестрели черными заголовками: «Убийцы в белых халатах», «Отравители», «Проходимцы». За центральными, стремясь не отстать от них, изощрялись в своей ненависти к евреям городские и районные шавки. Население было взбудоражено: вытаскивались на свет врачебные ошибки, вспоминались неверные диагнозы, неудачные операции. У кого-то умерла в роддоме жена, а завотделением был, конечно, Рабинович. Приехала поздно «скорая помощь», а дежурный

врач Хаймович и т.д. В районных поликлиниках больные не записывались на прием к врачам-евреям. На заборах и фасадах домов аршинные буквы призывали в который раз «бить жидов и спасти Россию».

Перья литсотрудников кемеровской молодежи были брошены на борьбу с отравителями и убийцами. На страницах газеты их рисовали – в белых халатах и с непомерно длинными носами.

Представьте себе положение, в котором очутился еврейский мальчик Леня Бубер (а с ним, скажем в скобках, сотни евреев-журналистов страны). Они должны были выискивать в больницах и поликлиниках «факты» и «фактики» с еврейскими фамилиями, изощряться, передергивать обстоятельства их «вины», полностью отдавая себе отчет, что своими руками подливают масло в огонь, который готов сжечь их самих.

Однажды Леня дежурил в типографии, был выпускающим номера. Прочитал еще сырые полосы, подписал их и поехал домой. Был двенадцатый час ночи. Холодный автобус, почти пустой, трясся по каменистой дороге рабочего поселка. Укутавшись в собачий воротник куртки, Леня задремал и не заметил, как на одной из остановок в автобус вошло несколько парней. Проснулся он, когда они, пьяные в дрободан, начали выяснять между собой отношения. Конечно, с помощью кулаков и мата. У одного из них была в руке початая бутылка. Глоток водки из горла примирил братву, они собрались выходить да на беду не с задней двери, как зашли, а с передней, возле которой сидел Леня. Заводила компании, толстяк с наглыми глазами, сделал вид, что споткнулся о ленину ногу, грузно плюхнулся на него и стал с нежным притворством обнимать, дыша в лицо винным перегаром. Леня отпихнул его от себя, но пересесть на другое место не успел: на него навалились пьяные дружбаны. Кто-

то из них,присмотревшись к Лене, вдруг радостно крикнул:

– Жид,ребята!

И со всей силы ударил Леню.

Несколько остававшихся пассажиров поспешили встать, автобус опустел.

– Стоп! – грохнул толстяк. – Не трогать жида. Сам с ним разберусь. А вы держите. Они батю моего на операции зарезали. Гады!

Он неспеша расстегнул штаны и обдал Леню нестерпимо вонючей теплой струей.

– У бати моча не шла, а у меня полный порядок! Понял?

Леня дернулся раз, другой, но получил пару оглушительных ударов и замолк. Его избивали в пустом автобусе и кулаками, и ногами, и попавшейся под руку крышкой от сундука. Водитель обнаружил его без сознания на конечной остановке. Никаких криков, заявил он следователю, во время поездки не слышал.

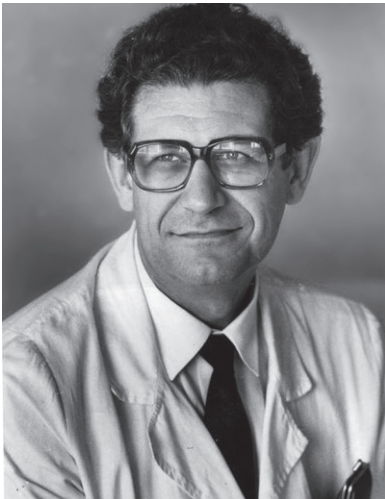
В районной больничке Леня пролежал около месяца. Было время подумать, что произошло и как жить дальше. То,что случилось в ночном автобусе, было небесной карой, считал он, за его фельетон на тему «врачей-убийц».

Придя в редакцию, он первым делом положил на стол редактора заявление об уходе.

Объяснил: энцефалитный клещ, головные боли, потеря памяти. Как журналист работать больше не смогу. Лицо его было настолько страшным, что дополнительных вопросов редактор не задавал.

«ЖИД И ХОХОЛ»

В тот раз я приехал в Москву не по командировке, не на премьеру. Телеграмма извещала о скоропостижной смерти брата. Сам медик, он наотрез отказался оперировать аневризму, жил с бомбой под сердцем, которая могла взорваться в любую минуту. И она взорвалась.



Мой брат Александр Локшин

Похороны состоялись на Донском кладбище. Легкий дымок сожженной плоти вился над крематорием. Мы ждали своей очереди. Кладбище было престижным, здесь были могилы многих известных людей России. Пройдя по аллеям, я случайно оказался перед скромным, в человеческий рост, памятником – гранитный параллелепипед, увенчанный лобастой головой мудреца. Скорбная, все понимающая полуулыбка.

Безглазья, устремленные на меня из-под густых бровей.

«СОЛОМОН МИХАЙЛОВИЧ МИХОЭЛС. 1890 – 1948»

И ниже, более мелкими буквами :

«Анастасия Павловна Потоцкая-Михоэлс. 1907 – 1981»

Великий маг еврейской сцены, ее некоронованный король, и она, из древнего рода графов Потоцких, его безумная любовь – «Астка, Асенька, Асик, Асточка», покорившая его бездонными с зеленоватым отливом глазами.

«Графиня и король» – так назвал я свою пьесу о них, но это произошло много лет спустя.

По странному стечению обстоятельств, при отъезде из

Москвы вдова брата подарила мне на память о покойном книгу о Михоэлсе – солидный сборник его статей, фотографий, воспоминаний о нем.

Уже в купе я начал листать эту книгу. Наше поколение почти ничего не знало о великом мастере. В 1948 году он был злодейски, по приказу Сталина, убит (якобы погиб при автомобильной катастрофе). Все, связанное с ним, замалчивалось. Его театр был закрыт. Еврейский антифашистский комитет, который он возглавлял, упразднен, а президиум почти в полном составе расстрелян. В 1953 году, в разгар еврейского погрома, известного как «дело врачей», Михоэлс был назван «известным буржуазным националистом, долгое время носившим личину советского артиста». Все, связанное с его именем, было вырвано из памяти.

Лишь в годы хрущевской оттепели издательством «Искусство» был издан этот богато проиллюстрированный том его творческого наследия. Статьи, интервью, стенограммы бесед со студентами.

Эту книгу я и увозил сейчас в Харьков. Она стала настольной на многие месяцы и годы.

Как мало я знал об этом человеке! Перед его артистическим талантом преклонялись Гордон Крэг, Юрий Завадский, Леонид Леонов. В годы повального насаждения системы Станиславского, призывавшего театр к зеркальному правдоподобию, копированию жизни, в Еврейском театре под руководством Михоэлса искали и находили пути создания поэтического, метафорического театрального действия.

Отказ от натурализма, отрицание приемов бытового театра, поиски символической выразительности и философской глубины были присущи и другому театральному деятелю – выдающемуся украинскому режиссеру Лесю Курбасу, бросившему вызов провинциальному шароварному «малороссийскому» театру.

Оба мастера были дружны. При встречах обменивались взаимными откровениями и мечтами о театре будущего. «Мы братья по крови», – говорил еврейский режиссер. Обоих «братьев» постигла одинаковая участь – того и другого сгноила сталинская тоталитарная система.

Часто спрашивают – почему вы вдруг решили написать об этом человеке или на эту тему. Ответить непросто. Нужен толчок, внутренний порыв, увлечение и, если хотите, преклонение перед своим будущим героем.

Художник и власть – вечная, не имеющая конца тема. В единоборстве творца и тирана априори известно, что победит тиран. Сомнет, сожжет на костре, вздернет на виселице, сгноит в лагерях. За ним сила. Но победа духа останется за Творцом, трагическое очищение, катарсис, перейдет как эстафета следующим поколениям.

Светлая тень Леся Курбаса витала в созданном им театре «Березіль», ставшем после изгнания великого Мастера одним из бесчисленных на Украине театров Шевченко. В восьмидесятые годы на сцене этого театра было поставлено шесть моих пьес. Не раз заходила речь о том, чтобы сделать спектакль, посвященный Курбасу. Таковые попытки были раньше, но ни одна не была реализована.

Читателю, наверное, невдомек, почему это я, начав с подаренной в Москве книги о Михоэлсе, заговорил вдруг о другом режиссере. А дело в том, что именно из нее я узнал, что один из лучших спектаклей Михоэлса-актера – «Король Лир» – задумал и начал ставить Курбас.

Шел 1933 год. Политические репрессии уже начали набирать силу. Идеологическая машина террора ломала судьбы инакомыслящих. Курбас изгнан из своего театра как формалист, украинский националист и чуть ли не враг народа. От него, опального, отвернулись не только соратники по «Березілю», но и превозносившие его ранее московские и

ленинградские друзья. И только «рыцарь без страха и упрека», руководитель Государственного еврейского театра Соломон Михайлович Михоэлс протягивает ему руку помощи и предлагает поставить спектакль в своем театре. Согласитесь – в те мрачные зловещие годы это – уже поступок.



Соломон Михоэлс



Лесь Курбас

Начали возникать видения – эпизоды пьесы.

Гримировальный столик. Перед зеркалом М и х о э л с. На нем старенький картуз и жилетка Тевье. Наносит последние мазки грима. Тут же в комнате Курбас.

МИХОЭЛС.

Нет, Курбас, ни за что!
На этот раз твой выстрел – мимо!
Нет, в самом деле:
Михоэлс – Лир!
Потеха! Смехота!
С моею мордочкой – на трон!
Ну ты сморозил!
Я б личико свое охотно
Отдал в ломбард.

КУРБАС.

В ломбард?

МИХОЭЛС.

Ну да!.. И потерял квитанцию бы

Тут же, не отходя от кассы.

Оба смеются.

Держу пари, такого Лира, шахер-махер,

Еще не знала мировая сцена.

КУРБАС.

Тем лучше!

МИХОЭЛС.

Нет, старик, я тот сверчок,

Который точно знает свой шесток.

Я Лир Анатовки, Бердичева, Сосновки,

Король портных, торговцев местечковых,

Молочников и книгонош...

Корона? Как ее носить

Той голове, которая привыкла

К ермолке или картузу?

КУРБАС.

Ты помнишь, в Харькове

Пришли с тобой мы в зоопарк.

Там лев был старый...

МИХОЭЛС.

Как же! Соломон — мой тезка!

КУРБАС.

Стоял я сбоку и глядел,

Как вы беседовали с ним —

Два льва, два Соломона,

Два мудрых и веселых короля.
И дело не в обличье –
Сердцем ты король.
Великим, древним,
Несчастливым и гонимым,
Как твой народ.

МИХОЭЛС.

Теперь понятно, почему оно болит.
Замучил ты меня... Где валидол?
Капает из пузырька на кусочек сахара.
Всё, Лесь. Кончаем разговор,
Я дам тебе другую пьесу.

КУРБАС.

Шекспир.

МИХОЭЛС.

Это принцип?

КУРБАС.

Да, принцип.

Долгая пауза.

МИХОЭЛС.

Ну что ж, мне очень жаль.

КУРБАС.

Мне тоже.

*Пожимают друг другу руки. Курбас уходит.
Михоэлс задумчиво глядит ему вслед, потом со злостью
швыряет кусочек сахара на пол. Свет медленно гаснет.*

И все же Курбас преодолел его сомнения, начались радостные и волнующие дни – репетиции «Лира». И вдруг – Леся Степановича арестовали. Спектакль, выпущенный другим режиссером, получает высокую оценку в то время как истинный творец его гниет на Соловках. Но через несколько лет и Михоэlsa постигает неминуемая участь. С ним тоже расправляются как с буржуазным националистом. И возникает, персонифицируется Власть в лице безымянного майора НКВД, для которого оба – и «Жид», и «Хохол» – поднадзорные. А проще говоря – враги, которых надо уничтожить.

Так я и назвал пьесу – «Жид и хохол». Читал ее на худсовете в Театре имени Шевченко. После читки – молчание. Потирают лбы. Уткнулись в пол.

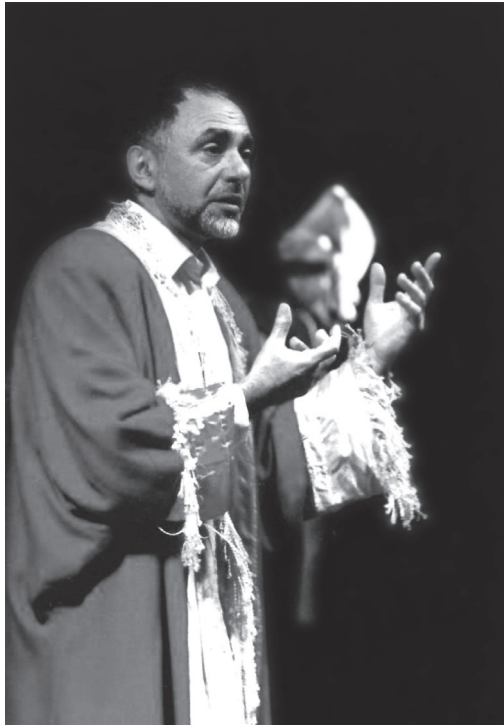
«Понимаете, уважаемый автор, – изрекает в конце концов худсовет, – пьеса интересная, но она больше про Михоэlsa, он главный герой. А нам хотелось бы поставить спектакль о Курбасе».



Сцена из спектакля «Графиня и король» в Штутгартском еврейском театре (Михоэлс – В. Кауфман, Ася – Т. Лубенская)

Такой вот был приговор. А в Министерстве культуры Украины, между тем, пьеса вызвала единодушное одобрение коллегии, но это не повлияло на вердикт театра.

Я решил показать пьесу Феликсу Чемеровскому, руководителю Еврейского камерного театра. Его ответ был с точностью до наоборот: «Пьеса неплохая, острая, постановочная. Но зачем Еврейскому театру Курбас? Напишите пьесу о Михозлсе, мы ее поставим». Так я и сделал. Пьеса «Последняя роль Соломона Михозлса» была поставлена в Харьковском еврейском камерном театре, затем шла (под названием «Графиня и король») в Штутгарте и Бремене.



**В роли Михозлса засл. деят. искусств Украины Е. Гимельфарб
(Харьковский еврейский камерный театр)**

ПОСЛЕДНИЕ ГАСТРОЛИ ТЕАТРА МИХОЭЛСА

О том, что Государственный еврейский театр встретил начало войны, находясь на гастролях в Харькове, я впервые услышал от дочери самого Соломона Михайловича Михоэlsa.

Узнав, что я харьковчанин, Наталья Соломоновна, грустно улыбнувшись, сказала:

– Для папы Харьков навсегда остался городом, где он провел последний день мира.

...То гастрольное лето сорок первого года сулило харьковским театрам немало радостных встреч. В театре им. Т.Шевченко показывал свои спектакли Запорожский муз-драмтеатр, в Доме Красной Армии им. К. Ворошилова заканчивались гастроли пластико-акробатического балета. В театральных кассах шла бойкая продажа билетов на спектакли московского Малого театра.

Приехавший в Харьков в первых числах июня театр Михоэlsa занял сразу две сценические площадки – ДК им. Ворошилова (это здание, разрушенное войной, стояло на месте нынешнего Вечного огня) и театр русской драмы на Рымарской – сейчас там областная филармония.

Поселились в гостинице «Интернационал» – серой конструктивистской громадине на площади Дзержинского, в новом центре города. Неожиданно всем велели собраться в фойе, на лекцию о международном положении. Лектор обкома партии, щупленький, невзрачный человечек, стал излагать скучные банальные истины. Вокруг нашей страны, говорил он, бушует вторая империалистическая война (не мировая, т.к. воюют между собой за раздел мира империалисты). Только народы Советского Союза, благодаря мудрой сталинской политике, живут мирно и счастливо,

победоносно идя вперед к коммунизму (в этом месте по ритуалу полагались аплодисменты, и они прозвучали).

Скрипели кресла, актеры, люди темпераментные и неусидчивые, нетерпеливо поглядывали на часы: кончится ли когда-нибудь эта тягучая трепотня! Неужели мы сами не знаем, что мудрый Сталин не допустит войны. Закругляйтесь, уважаемый товарищ, у нас ведь завтра открытие гастролей!

Было это 5 июня 1941 года, за семнадцать дней до начала войны, но кто тогда мог предвидеть это? Лето, каштаны и липы в пахучем белом цвету – благодать!

Торжественно, с речами и цветами, открыли гастролы. Первым спектаклем, показанным в Харькове, была не еврейская классика, как обычно, а «Испанцы» Лермонтова. В том году вся страна торжественно отмечала столетие со дня смерти великого поэта. Но постановка лермонтовской трагедии была не просто откликом театра на знаменательную дату. В преступлениях средневековой инквизиции постановщик спектакля Михоэлс сумел разглядеть чудовищные черты инквизиции фашистской – с факельными шествиями, массовыми казнями и кострами сжигаемых на площадях книг. Сердце художника, вопреки разудалым пропагандистским маршам, чувало нависшую над Европой коричневую угрозу, ее неуклонное приближение к границам Советского Союза.

А гастролы шли своим чередом. В местных газетах появились первые рецензии на спектакли. Особым потрясением для харьковчан был «Король Лир». Многие знали, что спектакль поставил изгнанный из театра «Березиль» Лесь Курбас. И хотя на афише стояла фамилия другого режиссера, мощная энергетика и образное мышление Курбаса чувствовалось в смелом, оригинальном прочтении шекспировского творения.

Михоэлс редко играл «Лира»: роль требовала от него не-

человеческого напряжения. Говорят, что после этого спектакля снять с него трико одному человеку было не под силу. За период харьковских гастролей «Лир» шел всего два раза – 14 и 20 июня.

Успехом пользовался и другой знаменитый спектакль ГОСЕТа – «Тевье-молочник». В один из предыдущих приездов в Харьков Михоэлс увидел на сцене Театра им. Шевченко другого Тевье – Марьяна Михайловича Крушельницкого. Он был в восторге: « Я даже забыл, на каком языке вы играли, – говорил он, обнимая собрата. – Не удивился, если бы сам Шолом-Алейхем назвал вас своим лучшим Тевье».

Из шолом-алеихемовских произведений харьковчанам были показаны «Тевье-молочник» и «200 000». Но театралы Харькова ожидали премьеру «Блуждающих звезд». Она еще не была показана даже московским зрителям. Михоэлс решил обкатать спектакль на летних гастролях. О постановке он мечтал годами, но не было актрисы на роль героини. Сколько раз мысленно он отдавал роль Рейзл Спивак то одной актрисе, то другой. Нет, все мимо. Или возраст не тот, или обаяния нет, или техникой не блещет. А Михоэлс не хотел никаких компромиссов. Уповал на Всевышнего: авось упадет какая-нибудь залетная звездочка.

И дождался! Она была из местечка Дятлово, что в Западной Белоруссии, только что перед войной присоединенной к СССР. Приехала поступать к нему в студию.

– Высокая веснушчатая девчонка в завитушках, – вспоминает Наталья Соломоновна Вовси-Михоэлс. – Красное в горошек платье едва доходило ей до колен. Отец с нескрываемой симпатией улыбнулся ей и первым делом спросил, сколько ей лет: на вид она была совсем ребенком. «Почти шестнадцать, я уже скоро получу паспорт», – отвечала она.

Михоэлс дал ей платочек, попросил станцевать. Она лег-

ко прошла в танце, покружилась – все так мило, с чарующей грацией. А когда стала читать, вызвала всеобщий восторг – и комиссии, и тех, кто находился в зале. Так появилась в Еврейском театре его будущая звезда Этель Ковенская. А самое главное – Михоэлс нашел свою долгожданную Рейзл с «цыганскими сверкающими глазами», порывистую, очаровательную. Именно ту, которая грезилась ему на страницах романа.

Работа шла споро. Этель понимала его с полуслова. Но едва начались первые черновые прогоны и в зале гасили свет, девочка нервничала, сбивалась, путала текст: оказалось, играть она могла, только видя перед собой Михоэлса. Ну и намучался он с ней! И объяснял, и внушал, стараясь снять с нее оковы страха. Ничего не помогало – хоть отказывайся от спектакля! Неожиданно кто-то надоумил его сесть рядом с дирижером в оркестровую яму. И все сразу же получилось. Она видела перед собой его восхищенную улыбку, он – ее озаренные, с порхающими ресницами глаза. И не Шолом – Меер Муравчик, а он, Михоэлс, через оркестровую яму шептал ей: «Смейся, девочка, смейся!.. когда ты смеешься, то становишься еще красивее. Ямочки на щеках выступают больше, а белые зубки так хорошо идут к твоим черным волосам и цыганским глазкам, убей меня гром, если я говорю неправду!»

Театральный Харьков был восхищен игрой Этель Ковенской. 22 июня «Блуждающие звезды» шли в третий раз. А днем в это же роковое воскресенье показывали спектакль «Цвей кунилэмл».

«Мы с Михоэлсом в это время были в гостинице, – вспоминал впоследствии М. С. Беленький, директор театрального училища при ГОСЕТе. – Во время завтрака к нам подошел Д. Л. Чечик (актер театра – З.С.) и сказал, что по радио ожидается важное правительственное сообщение.

– Что это может быть? – с тревогой спросил Михоэлс.

Мы тут же, без секундного промедления, поднялись в номер и услышали речь Молотова. Сразу же после его выступления пошли на спектакль. Михоэлс прервал его, вышел в темный зал на авансцену и сообщил зрителям о начавшейся войне. Свою страстную речь Михоэлс закончил словами: «Уничтожить гада!»

Собравшись в фойе, уже после того как зрители разошлись, стали решать: играть вечерний спектакль или нет.

– Если мы хотим получить пустой зал, мы его наверняка получим, – говорила одна из актрис, Ида Абрагам. – У всех в голове война, а мы будем «фрейлехс» танцевать, да?

Ее поддержало еще несколько человек. Остальные молчали, так как знали что все будет так, как скажет «Алтер» («Старик» – так звали Соломона Михайловича в театре).

Выслушав всех, Михоэлс сказал:

– Значит, так. Всех, кто занят в спектакле «Блуждающие звезды», прошу быть в театре ровно в семнадцать ноль – ноль. Едем в Москву завтра. А сегодня вечером – торжественное закрытие гастролей в городе Харькове. И вы правы, Идочка, – обратился он к актрисе, – будем танцевать «фрейлехс». Назло гадам. Чем это плохо? А?

Зал театра в этот вечер был переполнен. Но ни хлопанья сидений, ни привычного театрального шумка. Во всем чувствовалась сдержанность, нервная напряженность. Люди пришли не столько на спектакль – скорее попрощаться с театром. Будто чувствовали, что эти гастроли – последние. И вообще, бог знает, что там ждет впереди – и тех, кто в зале, и тех, кто на сцене.

Спектакль шел дольше обычного. После каждой сцены, после очередной песенки или танчика – долгие восторженные аплодисменты. Двенадцать раз выходили на поклон артисты – зал не хотел их отпускать.

И вдруг Этель запела. Музыканты в яме подхватили мелодию. Песня была не из спектакля, народная, «Йошке уезжает». Ее пели обычно при расставаниях, перед дальней дорогой...

Вместе с артистами стоя пел весь зал.

ВСТОМНИМ ЗУСКИНА

Поклониться праху одного из самых блистательных мастеров еврейского театра можно лишь символически. Могилы Вениамина Львовича Зускина, надгробного камня или хотя бы скромного холмика на нашей земле нет. Расстрелянных в подвалах Лубянки обычно сжигали в кремационной печи, а бранные остатки безжалостно сбрасывались в

общую яму. Безымянную, конечно...



В.Зускин

Инженеров тогда казнили как вредителей, генералов – как изменников Родины, врачей – как отравителей. Но убить Актера? За что? Неужели такое могло быть? Было. Вспомним Зускина...

Маленький литовский городок Паневежис. Отец – местечковый портной, в доме всегда полно заказчиков. Пока идут обмеры и примерки, о чем только не говорят гости. Их шуточки,

характерные словечки, жесты запоминает насмешливый и проказливый мальчик – сынок портного. Вечером в кругу

домашних и гостей он, уж будьте уверены, так смешно «сделает» каждого заказчика, что зрители будут просто помирать со смеху.

Шли годы. Детские забавы переросли в мечту о сцене. Но судьба распорядилась иначе: по велению отца будущий артист оказался в стенах Московской горной академии. Боже, какая гнетущая скука в этом неодушевленном мире полезных ископаемых и буровых скважин! А бойкому, непоседливому пареньку хочется совсем иной жизни – лицедействовать, передразнивать, танцевать. И бросив вызов папе и судьбе, студент-недоучка поступает в труппу только что созданного в Москве Еврейского театра.

Так что же – мечта сбылась? Как бы не так: его, неприметного артиста вспомсостава, занимают лишь в массовках, дают крохотные, на пару фраз, рольки. Сомнения в правильности своего выбора терзают душу. Никакой он не актер, просто бездарь, вбившая в голову нелепые мечты о сцене. Таким, как премьер труппы Михоэлс, ему никогда не стать, кишка тонка!...

«В один из зимних вечеров 1921 года, – вспоминал Зускин впоследствии, – я сидел уставший после спектакля, издерганный в результате многих бессонных ночей, в опустевшем фойе крошечного студенческого помещения, где ГОСЕТ давал первые свои представления. Мучительно думал – в который раз! – над вопросом: как быть, не оставить ли всякие мысли об искусстве и не вернуться ли обратно в Горную академию, откуда я пришел в театр. Вот уже несколько месяцев работаю как актер, а вместо радости, которую я мечтал найти на сцене, испытываю горькое разочарование, сомнение, тревогу. Долго я сидел так, погруженный в тяжкие мысли. Кто-то ласково стал гладить мою голову. Это был Михоэлс. Оказалось, он уже несколько дней следил за мной, и его очень беспокоило мое подавленное состояние.

Мы говорили о многих и многих проблемах, связанных с трудной, сложной актерской профессией, и эта беседа положила начало нашей творческой и личной дружбе, которая с годами не только крепла и углублялась, но она определила всю дальнейшую судьбу...»

А судьба началась с «Колдуньи» (пьеса Аврома Гольдфадена) – именно она принесла молодому артисту ошеломляющий успех. С набеленным мелом лицом, отвратительным крючковатым носом, пришептывая и причмокивая, носилась по сцене Бобэ-Яхне, бесноватая зускинская колдунья, повергая в страх детей и вызывая восхищение взрослых. Немирович – Данченко ни за что не хотел верить, что Колдунью мог с таким блеском сыграть самоучка-дебютант, получивший первую серьезную роль. Михоэлс тоже участвовал в этом спектакле, играя ярмарочного шута Гоцмаха. Искрометные сцены Гоцмаха и Бобэ-Яхне сопровождались неизменными аплодисментами. Так родился блистательный дуэт Михоэлс – Зускин, который в течение 26 лет приводил в восхищение зрителей Москвы и Харькова, Берлина и Вены, Парижа и Брюсселя.

Одной из вершин этого уникального творческого содружества явился спектакль «Путешествие Вениамина III», в основу которого был положен роман классика еврейской литературы Менделе Мойхер – Сфорима. Возвышенный и наивный мечтатель Вениамин, этот еврейский Дон Кихот, отправляется на поиски страны счастья и справедливости. В этом путешествии его сопровождает друг Сендерл, местечковый Санчо Панса. И Михоэлс (Вениамин), и Зускин (Сендерл) вели в этом дуэте единую тему – вдохновенной мечты, разбившейся о тусклую повседневность. Приземленность Сендерла, жалкого кривоногого человечка, давала Михоэлсу возможность возвысить своего Вениамина, показать его духовную красоту и благородство. Каждый из актеров, ведя

свою партию, чувствовал «локоть» партнера, играл на успех спектакля в целом.

«Партнер на сцене для меня все, – признавался Зускин, – и лучший партнер всегда Михоэлс, с ним всегда легко играть: я стою спиной к нему на одном краю сцены, а он спиной ко мне на другом, мы не видим друг друга, но я чувствую, как Соломон Михайлович начинает поворачиваться ко мне и инстинктивно поворачиваюсь к нему – это полное блаженство – вся твоя душа в роли, в том, что происходит на сцене, я всецело завишу от него, а он от меня – это высшее счастье!»

Когда ГОСЕТ приступил к работе над «Королем Лиром», ни у кого в театре не было сомнений: у Короля – Михоэлса может быть только Шут – Зускин. Соломон Михайлович так выстраивал концепцию спектакля: «Король и Шут – это не две разных роли. Это почти один образ. Король и Шут – близнецы. Есть секунды, когда трудно разгадать, кто король

и кто шут. Духовное родство этих двух образов, рядом и смежно идущих, было ясно мне и В. Л. Зускину, с которым мы работаем с первых дней рядом и вместе. Мы так и ощутили – есть король и есть его изнанка».

«Лир» в Еврейском театре потряс театральную Москву. Качалов, Турчанинова, Охлопков были восхищены шекспировским спектаклем ГОСЕТа. Известный армянский актер Ваграм Папазян выразил, наверное, общее



**«Король Лир» в Государственном еврейском театре. Король Лир – С.Михоэлс, Шут- В. Зускин.
Рисунок А.Тышлера**

мнение, сказав : «Зускин был так же велик в роли Шута, как был велик Михоэлс в роли Лира».

И все же они – друзья, партнеры, единомышленники – были не похожими друг на друга, даже в чем-то противоположными. Дочь Михоэлса, Наталия Вовси-Михоэлс пишет в своих воспоминаниях: «Зускин каждого покорял своим обаянием. Костюм на нем сидел всегда элегантно (этим он весьма отличался от Михоэлса, на котором вещи сразу теряли свою новизну: брюки пузырились на коленях, а пиджак выглядел, как с чужого плеча). Зускин был намного выше отца и на девять лет его моложе. Но независимо от разницы в возрасте их отношения складывались как отношения старшего к младшему, учителя – к ученику. Это сказывалось даже в обращении: Зускин папе – «Соломон Михайлович» и «вы», а папа ему – «Зуса» и «ты».

Но эти различия отнюдь не мешали совместному творчеству, наоборот, эти два больших художника великолепно дополняли друг друга. По меткому выражению одного из театроведов, если Михоэлс был головой театра, то Зускин – его сердцем.

На сцене ГОСЕТа Вениамин Львович сыграл десятки ролей – драматических, комедийных, фарсовых. В работе над образом актер всецело полагался на свою интуицию. К раскрытию внутреннего мира героя он обычно шел через внешние черты, подсмотренные его зорким глазом в окружающей жизни. «Свойства таланта всегда толкают Зускина к сугубо конкретным вещам, – говорил Михоэлс, – и не случайно, что для своих работ он ищет живые модели. Ему, очевидно, важно знать по имени, отчеству и фамилии человека, который мог бы подойти в жизни для исполнения той роли, которую он должен изобразить в драматическом произведении... Внешним и первым прообразом его шекспировского шута в «Короле Лире» оказался... писатель Юрий Олеша.

Разумеется, Зускин совершенно преобразил свою «натуру», возможно, даже отказался от этого первоначального впечатления, но оно было».

Когда в 1946 году в ГОСЕТе торжественно отмечали 25-летие творческой деятельности В. Л. Зускина, юбиляр уже был народным артистом Российской Федерации, лауреатом Сталинской премии. Вернувшись домой, он увидел корзину цветов и записку в ней. Там было всего несколько слов: «Зуска! Так или иначе, хочешь ты того или не хочешь, но ты должен занять мое место в театре. Михоэлс».

Будто чувствовал уже тогда король еврейской сцены свою скорую гибель. В январе 1948 года, после злодейского убийства Михоэлса в Минске, осиротевший театр действительно возглавил Вениамин Зускин. Но ненадолго – всего на несколько месяцев. Набирала силу, раскручивалась оголтелая антисемитская кампания. Увольнялись специалисты – евреи, в газетах повсюду мелькали еврейские фамилии... Театр был слишком очевидным очагом еврейской культуры, его следовало задуть.

Каждую ночь, не смыкая глаз, артист ждал, что за ним придут. Нервное истощение довело его до больницы. Но лубяньские соколы проникли и туда. 23 декабря 1949 года они привезли его из больницы – спящего, завернутого в одеяло. И только проснувшись утром, он увидел, что находится в тюремной камере.

Три года и восемь месяцев находился Зускин под следствием. Следователи-костоломы пытались побоями и пытками выбить из него признание в шпионаже, в связях с американской еврейской организацией «Джойнт». Не вышло. Измученный, доведенный до крайнего изнурения, актер нашел в себе мужество начисто отвергнуть лживые измышления и заявить:

« Я себя не признаю виновным ни в шпионской, ни в на-

ционалистической деятельности».

12 августа 1952 года, вместе с другими деятелями еврейской культуры, был расстрелян актер Вениамин Зускин. Несколько строк из приговора Военной коллегии Верховного Суда СССР : «Подсудимый Зускин ... вместе с Михоэлсом ставил в театре пьесы, в которых воспевались еврейская старина, местечковые традиции и быт и трагическая обреченность евреев, чем возбуждали у зрителей-евреев националистические чувства».

Вот так... За «плохой» репертуар – девять граммов свинца в затылок.

Лучший актер, какого знала еврейская сцена, погиб в возрасте пятидесяти трех лет.

Вспомним сегодня Зускина...

«ЗОНА НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ПРАХОВ»

Есть даты чернее дегтя. И вспоминать не хочется, и забыть нельзя. Таким было 12 августа 1952 года. В этот день в подвалах внутренней тюрьмы Лубянки казнили выдающихся деятелей еврейской интеллигенции. Эхо расстрела донеслось до нас лишь спустя десятилетия, когда открылись двери стальных сейфов и документы с грифом «Совершенно секретно» явились на свет божий.

«Преступников» судила отработанная для расстрельных процессов машина – военная коллегия Верховного суда СССР, ибо им инкриминировались тяжкие государственные преступления – шпионаж и измена Родине. А на самом деле вся их вина заключалась в том, что в пятой графе «серпастого, молоткастого» у каждого из них было записано: еврей.

На скамью подсудимых посадили поэтов Переца Маркиша, Давида Гофштейна, Ицика Фефера, писателя Давида

Бергельсона, детского поэта Льва Квитко, артиста Вениамина Зускина, возглавившего Еврейский театр после убийства Михоэlsa, главного врача больницы им.Боткина Бориса Шимелиовича, заместителя министра иностранных дел Соломона Лозовского, критиков, журналистов.

Все они в той или иной степени были причастны к работе Еврейского антифашистского комитета. Во время Великой Отечественной Комитет сделал немало добрых дел. После Победы отношение к нему резко изменилось. На географической карте мира возникло государство Израиль, из всех стран начался исход евреев на свою историческую родину, и «вождь народов» решил немедленно прибегнуть к погромным акциям. Идеологический босс партии Сулов пишет докладную записку в ЦК ВКП (б), в которой утверждает, что деятельность ЕАК стала политически вредной, ибо она «приобретала все более националистический сионистский характер» и предлагает немедленно Комитет ликвидировать.

В 1949 году это и было сделано. К зданию ЕАК подогнали несколько грузовых машин и вывезли на Лубянку все документы Комитета. Одновременно шли аресты. Следователи, многие из которых прошли кровавую школу тридцать седьмого года, принялись истязаниями и пытками выбивать несуществующий компромат. Их было тридцать пять, этих мастеров заплочных дел, дабы они могли, сменяя друг друга, вести допросы круглосуточно.

По два-три раза в сутки – днем и в ночное время допрашивали Переца Маркиша. Только за первые три месяца его 96 раз вызывали на «конвейер допросов», 16 раз бросали в карцер – бетонный подвал с крысами.

Обвинением поэту, за отсутствием других улик, служили его стихи.

Вот, например, стихотворение о зеркале. Оно упало и

разбилось, и, как поэт ни старался соединить осколки в одно целое, оно так и осталось расколотым. Безобидная лирическая миниатюра? Отнюдь, «литературоведы» с Лубянки увидели в этих стихах затаенную скорбь о разбитом и рассеянном народе и сионистскую мечту о национальном единении. Вспомнили Маркишу и то, что, проживая в 1927 году в Харькове, он был связан, как сказано в приговоре, «с еврейской националистической организацией «Бой».

Другой подсудимый, но те же гнусные обвинения... В своем последнем слове поэт Лев Квитко горестно сказал:

– Перед самой радостной аудиторией с пионерскими галстуками выступал я десятки лет. Кончаю же я свою жизнь выступлением перед Верховным судом советского народа, обвиняясь в тяжчайших преступлениях... Я долго пытался, находясь в тюрьме, найти свое преступление и не смог. Спрашивается, зачем мне понадобилось выпускать из рук свое счастье – изменять Родине, которая дала мне все?

Стихи Льва Квитко расходились стотысячными тиражами, многие из них вошли в хрестоматии, стали песнями. «Как много внес Лев Моисеевич Квитко в литературу для детей нового, своего, квиткинского почерка, глубочайшего вдохновения слова – чистого, прозрачного, с радужными отражениями, словно капли росы при восходе солнца» – так говорил о нем Павло Тычина за несколько лет до казни.

Поэта Давида Гофштейна, одного из создателей новой еврейской поэзии, арестовали в Киеве, где он жил и работал. Тонкий и мудрый философ, он был в жизни тишайшим и скромнейшим человеком, напрочь далеким от политики. Только в творчестве искал и находил радость земного бытия. «Если бы я не был поэтом, то я не был бы ни минуты счастливым», – признавался он.

Мне рассказывали киевские друзья поэта, что к нему, в совершенстве знавшему иврит и идиш, часто приходили

люди с просьбой прочитать им письма, полученные от родственников. А председатель военной коллегии Верховного суда, ничтоже сумняшеся, заявил: «На вашей квартире в Киеве собирались антисоветские люди и обсуждали задачи борьбы с советской властью». Для обвинения, за неимением доказательств, годилось все: отмечал в синагоге день поминовения жертв фашизма – значит националист, ратовал за возрождение иврита – воинствующий сионист, приветствовал создание государства Израиль – изменник Родины. Только одного из этих обвинений с лихвой хватало на девять граммов свинца в затылок, но Гофштейн не доставил палачам такой радости – не выдержав изуверских истязаний, он умер за несколько недель до казни.

Три года и восемь месяцев готовился этот процесс. По зловещему умыслу его заказчиков и исполнителей он должен был стать открытым и продемонстрировать всему советскому народу коварные замыслы сионистов. 42 тома фальши, клеветы, измышлений и подтасовок были представлены на рассмотрение военной коллегии Верховного суда. Но случилось непредвиденное. Жертвы произвола отказались от своих «признательных показаний», добытых на предварительном следствии пытками и угрозами. Открытый процесс пришлось отменить, задуманный спектакль по хорошо отработанному сценарию не удался.

Тогда разгневанный «вождь народов» распорядился ликвидировать большую часть следовательской группы во главе с полковником Комаровым. А в недрах Лубянки уже стряпали новое погромное «дело» – о врачах-отравителях, «убийцах в белых халатах». И только смерть «лучшего друга советской интеллигенции» приостановила этот надвигающийся поток репрессий.

Но тринадцать обреченных все же успели казнить. Это был последний сталинский расстрел. Поклониться памя-

ти выдающихся деятелей еврейской культуры можно лишь символически. Расстрелянных в подвалах Лубянки обычно сжигали в печах единственного на ту пору крематория на Новом Донском кладбище, а бранные останки безжалостно выбрасывались в общую яму. На языке гебистов она называлась «Захоронение невостребованных прахов».

Бывая в Москве, я всегда приезжал сюда – положить цветы на могилы родственников. Брат Александр рассказывал мне об истории этого крематория. Оказывается, кремационные печи были куплены за границей еще в 1918 году по распоряжению Ленина. Загробной жизнью вождь революции заинтересовался не случайно. Здесь тоже на первом месте была идеология. Учению церкви о том, что в дни Страшного суда «гробы разверзнутся» и мертвые восстанут перед Христом «во плоти», большевики хотели противопоставить «материалистическое отношение к погребению», т.е. сжигание трупов. Задымил ильичево создание в торжественные дни 10-летия Октября, разнося сажу на балконы окрестных домов.

В годы сталинщины сюда по ночам грузовиками свозили трупы казненных на Лубянке или в Лефортово. Здесь погребен прах Блюхера и Уборевича, Якира и Постышева, Мейерхольда и Кольцова, Бабея и Тухачевского. Сейчас здесь стоит обелиск в память о жертвах репрессий, а вокруг него воткнуты десятки табличек с фамилиями. Среди них и весь состав бывшего Еврейского антифашистского комитета.

Голоса «невостребованных прахов» слышатся в мирной кладбищенской тишине.

Эмиграция как парадокс судьбы



Мы с Ритой. Первый год в Германии.

ВОСТОК — ЗАПАД

В сорок первом путь в эвакуацию лежал на Восток. Ровно через шестьдесят лет, в 2001-м, навсегда простившись с Харьковом, я уезжал в противоположном направлении. Эвакуация – эмиграция... Тогда – от немцев, сейчас – к немцам... Не парадокс ли судьбы?

Погодка за окнами автобуса, захлестанными холодным апрельским дождем, была под стать состоянию души. И не удивительно – за спиной, отдаляясь с каждым километром, оставалось самое дорогое: книги, театры, друзья. Полдомика в Люботине с двенадцатью сотками смородины и малины и благостной тишиной, нарушаемой только утренним пением птиц. Одним словом, оставалась Жизнь. А надвигалось с той же скоростью Неведомое, Неласковое, Непривычное, Чужое.

За два дня до отъезда в Оперном театре увидела свет рампы опера «Поэт» по нашему с А. Беляцким либретто, и ощущение того, что эта премьера для меня последняя не только в Харькове, но и вообще в жизни, добавляло горечи и печали.

Утихомирить себя можно было только одним. Что сделано, то сделано, не грешно в моем возрасте и поставить точку. Буду жить, как говаривал наш университетский преподаватель, « травоядно – растительной жизнью». Читать,

путешествовать, возиться с внуками. Пора и отдохнуть.

Так поначалу оно и складывалось. Жили мы до обретения собственной квартиры в «хайме» (общежитии). Небольшой чистенький городок Фишах находился в самой гуще Баварского лесного заповедника и располагал к ежедневным многочасовым прогулкам. Но любование красотами природы, как известно, часто сопровождается и «шевелением мозгов» на всякие другие темы. Короче говоря, стала выстраиваться, как бы сама по себе, давно задуманная пьеса, которую я безуспешно старался написать в Харькове. И вот здесь, в «хайме» (новый парадокс судьбы), под несмолкаемый грохот магнитофонов, стараясь не слышать кухонной брани соседок и визга малышни, я стал выстукивать на своем стареньком «ундервуде» (все-таки захватил с собой, на всякий пожарный, орудие труда!) драматическую историю о жизни двух великих примадонн мирового театра Сары Бернар и Элеоноры Дузе. И, по завершении пьесы, прочел ее нашим «хаймовцам».

С того самого дня то, что оставалось в сизой ностальгической дымке прошлого, начало сливаться с происходящим сейчас, будто никакого разрыва, никакого резкого и неоправимого слома не произошло. Захотелось жить так, как жил раньше. Только так, а не иначе!

В ГОСТЯХ У БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ

Экспресс мчался со скоростью 250 км в час. Но ни грохота, ни лязга, словно на прогулочном катере. Лишь чашечки с кофе на нашем вагонном столике едва-едва подрагивали. За пять с небольшим часов мы незаметно для себя пересекли всю Германию – от южнобаварского Аугсбурга до расположенного на севере страны Бремена. Столь комфортабельное

путешествие – удовольствие не из дешевых. По стране мы обычно передвигались на электричках. Но ехать в далекий Бремен с пятью пересадками было бы, конечно, мучительно. Поэтому пригласивший нас театр «Русская актерская школа» любезно оплатил билеты и мне, и жене.

А ехали мы на премьеру спектакля по моей пьесе «Последняя роль Соломона Михоэлса», сценическая жизнь которой началась в Харьковском еврейском камерном театре. Эту же пьесу поставил незадолго до этого еще один театр в Германии – Штутгартский. Премьера бременцев – это особенно радовало! – была назначена на 16 марта – день рождения Соломона Михайловича.

Театр «Русская актерская школа» можно по праву назвать эпицентром жизни русскоязычной диаспоры Бремена. Создал его и руководил им в течение многих лет человек, чье имя хорошо известно в театральных кругах бывшего Союза. Это Семен Аркадьевич Баркан, заслуженный деятель искусств России, профессор Щепкинского театрального училища, постановщик ряда неординарных спектаклей на столичных и других сценах. Когда в одночасье, в силу сложившихся семейных обстоятельств, он вынужден был расстаться со всем, что составляло его духовный мир – с театрами, студентами, учениками, и переехать в Германию, этот крутой разворот едва не стоил ему жизни. И на самом деле, мог ли он, подвижник, трудоголик, живший в постоянном цейтноте, внезапно затормозить себя и предаться спокойному и плавному течению эмигрантской жизни? Хождение по супермаркетам, визиты к врачам, прогулки по набережной Везера... Нет, это не для него.

«Вы знаете, – рассказывал он при нашем знакомстве, – я чувствовал, что начинаю потихоньку сходить с ума». Вынужденное ничегонеделанье было равносильно погребению заживо. И вдруг, как подарок судьбы – предложили почасов-

ку в Бременском университете, небольшой курс «Культура стран Восточной Европы». А через несколько месяцев неутомимый Баркан уже отбирал студийцев из числа русскоговорящих студентов для своего театра. Ему в ту пору было без малого восемьдесят лет!

Моя пьеса о Соломоне Михозлсе попала Семену Арка-



После премьеры в Бременском театре «Русская актерская школа» Слева направо:режиссер-постановщик спектакля, засл. деят. искусств России С.А.Баркан, актриса Л.Гурина, автор пьесы З.Сагалов и актер Д.Синявский

дьевичу на глаза, когда он параллельно работал над четырьмя спектаклями. Такова здесь обычная практика репетиционной работы в русских театральных коллективах: штатных артистов нет, студийцы, как правило, учатся или работают. Вот и приходится постановщику быть еще и диспетчером, выкраивая часы, удобные для исполнителей. Пьеса о Михозлсе стала пятой в репетиционном плане 85-летнего режиссера. И к ней у него было отношение особое.

– Я один из немногих еще живущих «динозавров», коему посчастливилось видеть Мастера на сцене, – говорил он мне по телефону. – До сих пор в памяти его образы – Лир, Тевье... Концентрация мысли на сцене завораживала, он брал зрительный зал и погружал его в глубину своих размышлений и чувств. Я лично знал Соломона Михайловича, поэтому создать спектакль, посвященный его памяти – мой святой долг.

Он отложил начатые проекты и приступил к работе над «Михоэлсом». И сразу же возникли трудности. Он, конечно же, их предвидел. Ведь даже для опытного и высокопрофессионального артиста «сыграть» неповторимого Михоэlsa – задача фантастически сложная. Что уж говорить о тех, кто делает свои первые шаги на сцене?

Поручил роль одному студийцу – пришлось отказаться. Прослушал второго, третьего – нет, все не то. Не было главного – ощущения высокой духовности и магнетического обаяния, присущего великому артисту. А без этого... нет уж, извините, выпускать какой-нибудь «эрзац» он не станет, просто не имеет на это права!

Режиссер уже был готов отказаться от постановки, когда случай свел его с Дмитрием Синявским. Собственно, знакомы они были давно. И Дима, и его жена Светлана, в прошлом киевляне, не пропускали ни одного спектакля «Русской актерской школы», к их мнению и замечаниям Семен Аркадьевич всегда прислушивался – и муж, и жена были достаточно компетентными и тонкими знатоками театра.

Однажды Семен Аркадьевич поделился с ними своими горестями. И вдруг, оборвав себя на полуслове, как-то по-особому, прицельно взглянул на Диму.

– Я, может быть, скажу сейчас большую глупость, но... Вы только не смейтесь, ради Бога... А что если нам попробовать с вами?

– Шутите, Семен Аркадьевич.

– Никоим образом.

– Но за свои шестьдесят два года я ни разу не выходил на сцену.

– Димочка, завтра в одиннадцать встречаемся в театре. И только вздумайте не прийти!

Так доктор технических наук, физик, руководитель крупной германо-украинской фирмы, стал по совместительству артистом университетского театра.

Баркан понимал, на какой риск отважился. Мало того, что Дмитрий был скован на первых порах, плохо запоминал текст (ведь не было профессиональной актерской памяти), ему к тому же приходилось часто выезжать в Украину по делам фирмы, и тогда репетиции прекращались. Исполнительница роли Анастасии, жены Михоэlsa, Лариса Гурина тоже часто отлучалась – как менеджер она много времени проводила в служебных командировках.

Так уж случилось, что, работая над ролью, Дмитрий Синявский побывал Израиле. Там, к великой его радости, удалось встретиться с Ниной Михоэls, дочерью Соломона Михайловича.

– Нина очень интересный, общительный и обаятельный человек, – рассказывал Дима. – Она сразу же создает вокруг себя заразительную творческую атмосферу, как это было в доме ее отца. Во время нашей встречи мне удалось узнать немало интересных подробностей, каких-то живых деталей, которые впоследствии помогли в работе. У Михоэlsa, как известно, был орден Ленина, но он предпочитал пореже появляться с ним. Когда же возникала необходимость предстать «во всей красе», Соломон Михайлович звонил домой и говорил: «Нина, встречаемся в булочной». И дочь с «регалий» мчалась в магазин, где, спрятавшись за кассой, Михоэls привинчивал орден и отправлялся по своим депутат-

ским обязанностям.

Долгие девять месяцев, с вынужденными паузами, продолжались репетиции спектакля, пока, наконец, режиссер решился объявить премьеру.

Днем, до начала спектакля, Света Синявская, жена Димы, показывала нам Бремен. Оказывается, этот вольный ганзейский город – самое древнее образование на немецкой земле. В 789 году посланцы императора Карла Великого заложили на берегу широкого Везера первую в Северной Германии базилику. Вокруг нее и сложился этот удивительный, неповторимый город купцов, рыбаков, судостроителей. Корабли со всего света разгружали свои товары у его причалов. На сохранившейся доньше Марктплатц (Рыночной площади) когда-то шумели-гудели знаменитые бременские ярмарки. Чего тут только не было! И экзотические пряности, и диковинные тропические фрукты, и дорогие меха из далекого Новгорода, и бельгийские кружева из Брюгге...

Бродя по улочкам Старого города, мы заметили на некоторых вывесках символику, связанную с романом Даниэля Дефо: ресторан «Робинзон», бар «Пятница». Что это – просто рекламный трюк, игра фантазии? Какое отношение имел потерпевший кораблекрушение английский моряк к городу Бремену? Как оказалось, самое прямое.

– Вспомните начало романа, – улыбнулась Светлана, глядя на наши недоуменные лица. – И тут же процитировала первую фразу: «Я родился в 1632 году в городе Йорке в зажиточной семье. Мой отец был родом из Бремена...» Так начинается свой рассказ Робинзон. Поэтому бременцы с полным правом считают его своим земляком. И, естественно, гордятся этим.

Особым уважением в этом городе, как оказалось, пользуются... лентяи. Ведь благодаря им, как считают здесь, были созданы все технические новинки, и вообще прогресс

обязан им очень многим. Надоело, скажем, носить ведрами воду – ленивцы изобрели водопровод. И колесо, и плуг – это тоже не что иное, как придумки тех, кто хотел облегчить себе жизнь. В честь этих инициативных и смысленных лежебок и построен в центре города «Фонтан лентяев». Кстати, вдоль некоторых улиц стоят весьма «прикольные» фонтанчики. Их бассейны-чаши расположены на разных уровнях, чтобы утолить жажду могли и собаки, и люди, и лошади.

Перед фасадом одной из красивейших в Германии ратуш стоит бронзовый Роланд – легендарный рыцарь Карла Великого, в течение шести веков являющийся символом свободы вольного города Бремена.

Под ратушей (удивительный симбиоз!) обширный винный погреб с огромными, в полтора человеческих роста, бочками. Витая железная лестница ведет в зал самой ратуши. И оказывается, не случайно. В тех случаях, когда муниципальные функционеры заходили в тупик и не могли разрешить какую-либо проблему, они спускались в гостеприимный погреб и там за бокалом доброго мозельского быстро обретали необходимый консенсус.

Тут же, неподалеку от ратуши, мы оказываемся как бы в детстве всего человечества. Вот она, известная на весь мир сказочная пирамидка: осел, собака, кот и взобравшийся на самый верх петух. Знаменитые бременские музыканты, всегда окруженные туристами с фотоаппаратами и видеокамерами. Ноги осла отполированы до блеска сотнями тысяч гостей – ведь существует поверие, что, подержавшись за них, человек обязательно возвратится сюда. И мы, дождавшись своей очереди, трем замерзшими пальцами железные ослиные конечности ...

А вечером был спектакль. Театр расположен в одном из зданий университетского городка, довольно далеко от центра города. Просторное фойе к нашему приходу уже было

заполнено зрителями. На стенах – фото из спектаклей, высказывания прессы Москвы и Парижа, где «Русская актерская школа» с успехом показывала свои работы.

Спектакль начался публицистическим прологом. На голой сцене ничего лишнего: несколько оборванных театральных афиш и идущий по сцене и продолжающийся на заднике след колес грузовой машины. Зловещий символ злодейского убийства Артиста в «автомобильной катастрофе».

Не играя своих героев напрямую, Лариса Гурина и Дмитрий Синявский ведут свое повествование как бы от их имени. Большая, всепоглощающая любовь Соломона Михайловича и Анастасии Потоцкой началась со случайной встречи в Ленинграде и трагически оборвалась в день отъезда Ми-



**Л.Гурина и Д. Синявский
в сцене из спектакля.**

хоэlsa в Минск. Всего тринадцать лет совместной жизни было отведено им судьбой, и каждый день был наполнен и счастьем, и вечным совковым страхом. Исчезали друзья, становились «врагами народа» самые близкие. Каждый день могли прийти и за ним. И оба исполнителя очень точно и психологически тонко передают это постоянное ощущение страха, неотвратимой, неминуемой расправы.

Михоэлс сыграл на сцене множество ролей.

Но самой тяжелой была для него та, которую он был вынужден исполнять по воле «вождя народов».

Осыпанный всеми почестями и наградами, он знал, что является ширмой, за которой в стране творится гнусная антисемитская кампания. Знал – и однажды не выдержал. Этот вызов, открыто брошенный артистом в лицо всемогущей власти – один из ключевых эпизодов спектакля. И Дмитрий Синявский проводит его с большой внутренней силой, убеждая зрителей, что только так мог поступить человек, у которого «сердце болело за весь мой народ».

Этот камерный дуэтный спектакль завершился совершенно неожиданным финалом. По обоим проходам зрительного зала к сцене пошли вереницей одетые в черное люди с зажженными свечами. Десятки трепещущих огоньков окружили возникший в глубине сцены фотопортрет Михоэlsa. Тот, последний, который был сделан в Минске за день до гибели артиста.

Ц В Е Т Ы Д А Х А У

Эту поездку как-то неловко, даже кощунственно назвать экскурсией. Впереди, за лобовым стеклом автобуса, летит навстречу стерильный, сверкающий на солнце автобан. Только ведет он на сей раз не к замку короля Людвига. Не на родину гениального Моцарта. И не к рейнским водопадам.

Мы едем в Дахау. Слово это как удар бича, как рык ощерившейся овчарки. Оно из тех глубин сознания, где память складывает все самое жуткое и чудовищное.

С каждым километром «оно», это прошлое, приближается к нам – ведь от Мюнхена до Дахау всего каких-то двадцать километров. Но ничего особенного, обычная дорога. По обеим ее сторонам зеленеющие первыми весенними всхода-

ми поля. Аккуратные, под черепицей, домики с цветочными клумбами в палисадниках чередуются с бензоаправками и мотелями. И только встречные автомобили с местными номерами будто стреляют в тебя: ДАН... ДАН... ДАН...

Мы уже едем по улицам этого небольшого баварского городка, по воскресному оживленному, с сидящими за столиками кафе благообразными старичками и облизывающими мороженое детьми. Вертятся карусели-аттракционы, гремит музыка. Город не хочет помнить о прошлом и, может быть, он прав? Те, кто сейчас ходят по его улицам, не открывали вентиль с газом «циклон» в дезинфекционные камеры. Не стояли у печей крематория. Не пытали и не расстреливали. Они же из другого, мирного времени. Ну а что до исторической, генетической памяти, то она, к сожалению, быстро выветривается. И наш шофер, всю дорогу слушавший по радио оглушительно веселую музыку, и не думал, наверное, какую боль причиняет он нам, едущим хоть и не в зарешеченных вагонах, но все же туда. ТУДА...

Железные ворота концлагеря открыты. Сегодня особый день. 29 апреля 1945 года американские войска дали свободу узникам Дахау. Тем 35 тысячам ходячих скелетов, которых уберег Бог. И потому в храмах разных конфессий, воздвигнутых на территории бывшего лагеря, идет поминальная служба. Под звуки органа в католической кирхе, вознесенными к небу голосами у евангелистов. Трижды, с хоругвями и иконами, с пением «...смертию смерть поправ...», обходят маленькую бревенчатую часовенку православные. Под обращенным к небу семисвечником кантор читает поминальную молитву кадиш в память погибших евреев.

Дахау был первым концентрационным лагерем на территории Германии. Его начали строить по приказу Гитлера через пару месяцев после его прихода к власти, 22 марта

1933 года. Первыми заключенными были антифашисты и евреи. Но затем, по мере распространения коричневой чумы по телу Европы, в Дахау стали свозить австрийцев и поляков, французов и итальянцев, чехов и цыган. С особой жестокостью и садизмом эсэсовцы обращались с советскими военнопленными. А служили здесь, видимо, подлинными мастера заплочных дел – не даром именно в Дахау были «курсы повышения квалификации» для СС из других 20 концлагерей.

Мы обходим огромную территорию бывшего концлагеря, ноги мягко утопают в гравии – им засыпано все – прямоугольные угольники, в прошлом занятые бараками, дорожки между ними, апельплац, на котором ежедневно, утром и вечером, проходила переключка, провозглашались приказы и совершались экзекуции.



В музее – фото узников, цифры по странам, по годам – черная бухгалтерия смерти. А рядом, лишь выйдешь из музея – наглядные пособия, иллюстрирующие эту бухгалтерию. В приземистом одноэтажном строении – кремационные печи с открытыми, ведущими в страшное никуда железными дверями. Очевидно, это лишь небольшая часть прежней фабрики смерти. Неподалеку памятный камень с надписью о том, что здесь стоял крематорий.

На земле, удобренной пеплом, густо цветет желтая акация.

Цветы памяти сегодня там, где за 12 лет погибло четверть миллиона людей. Склонившие свои головы флаги на быв-

шей апельсиплац. Сотни венков у стены, где когда-то, быть может, раздавались автоматные очереди «шмайссеров».

Цветы от народов и стран, которые никогда не забудут погибших здесь своих сыновей и дочерей.

ОН ЖИЛ С ОСКОЛКАМИ «ХРУСТАЛЬНОЙ НОЧИ»

Покидая мемориал «Дахау», когда глаз уже отказывался воспринимать все новые и новые свидетельства творившихся здесь чудовищных преступлений, увидел я на выбеленной стене бывшего лагерного барака нечто похожее и вместе с тем не похожее на крюкообразную эмблему фашизма – свастику.

Сколько их мелькало здесь, на территории бывшего концлагеря – на эсэсовских знаменах, на рукавах гестаповцев, навеки запечатленных на стендах музея (словечко-то какое – «музей»!). Но эта зловещая крестовина была иной. Она была составлена из двух узников, двух безжизненных тел, двух трупов. Их пересечение и было этим чудовищным знаком фашизма.

Автор этой отлитой из бронзы свастики – один из бесчисленных заключенных концлагеря Дахау, которому посчастливилось выжить, не стать горсткой пепла в общей погребальной яме для 45 тысяч погибших здесь узников. «Одиссея» этого художника стоит того, чтобы о ней рассказать подробнее.

Давид Людвиг Блох родился 25 марта 1910 года в баварской деревушке Флосс, что в Оберпфальце. Родители его, небогатые евреи, рано ушли из жизни, и он, круглый сирота, лишенный к тому же и слуха, остался на попечении бабушки. Сверстники неохотно принимали глухого мальчишку в



Свастика. Бронза. Автор Д.Л. Блох

свои игры, большую часть времени ему доводилось проводить в одиночестве.

Пристрастился к рисованию. Часами что-то малевал, раскрашивал, лепил. Переносил на бумагу все, что видел перед собой – озеро с белыми лебедями, соседскую собачку, живописную полянку в лесу. Набор акварельных красок и коробка с карандашами сделались его спутниками на всю жизнь. «Мои картины – это мой язык» – скажет он впоследствии, став известным всему миру мастером.

В школе для глухонемых детей, куда отвела его бабушка, Давида обучили расписывать фарфор. Это занятие было ему по душе. Затейливыми баварскими орнаментами он украшал столовые и чайные сервизы на фарфоровом заводе братьев Баушер. Но разразившийся в Германии экономический кризис начала тридцатых годов коснулся и его – Давид потерял свое место и стал одним из миллионов безработных.

Перебравшись в Мюнхен, он сразу же окунулся в многообразную художественную жизнь баварской столицы. Юноша бедствовал, но старался не пропустить ни одной художественной выставки. Тогда правили бал экспрессионисты, он подолгу разглядывал картины Э. Мунка, Ф. Ходлера, Э. Нольде. Обостренное выражение эмоций, неожиданность и гротескная изломанность образов восхищали Давида. Чувствовал, что надо учиться дальше. Ведь в школе глухонемых его обучили только ремеслу. А он уже мечтал о высотах подлинного искусства.

В 1934 году один из еврейских благотворительных фондов выделил для молодого и одаренного художника стипендию для учебы в Мюнхенской академии прикладного искусства. Это был, конечно, подарок судьбы. Давид Блох сразу же увлекся резьбой по дереву, его первые гравюры были исполнены легкости и изящества. Несколько работ было отобрано для показа на выставках.

Но в один прекрасный день все рухнуло. Вернее, это был не день, а ночь, и совсем не прекрасная. Та, которую впоследствии назовут «хрустальной».

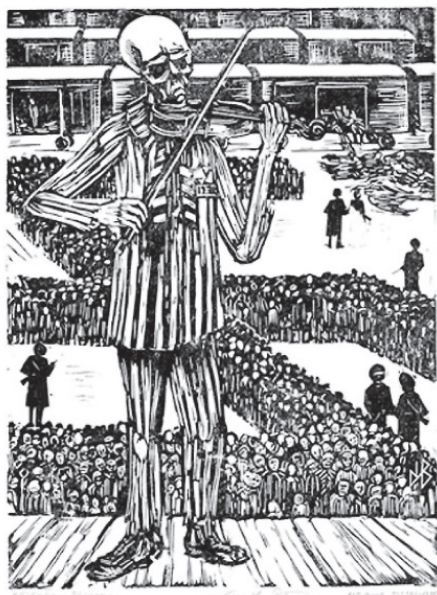
Он возвращался домой поздним вечером – задержался у друга. На одной из полутемных улиц, возле булочной, его окружила орава молодчиков. Витрина булочной была разбита, мостовая усыпана осколками. Громили что-то кричали, разинув оскаленные рты. Но Давид не слышал ни единого слова, ведь он был лишен слуха. Его молчание еще больше разъярило их. Его сбили с ног, топтали и пинали тяжелыми башмаками.

11 ноября 1938 года Давид Людвиг Блох уже стоял на аппельплац концлагеря Дахау. Моросил холодный осенний дождь с ветром и снегом. Шла переключка заключенных того барака, куда его определили вчерашней ночью. Штурмбаннфюрер в черном плаще с капюшоном несколько раз гаркнул

его фамилию, но никто не откликнулся. Стоявший рядом с Давидом заключенный, догадавшись, что сосед глухой, легонько подтолкнул его и тот выкрикнул свою фамилию. Трое суток – таково было наказание за нарушение «орднунга» на переключке – заключенный Блох вычищал нужники вместе с командой штрафников.

Каждый день был длиною в век. Узники жили на грани выживания, но ему, глухому, пожалуй, было еще тяжелее. Не слыша слов, обращенных к нему, Давид не понимал команд. Товарищи по бараку как могли выручали его, подсказывая жестами и мимикой, что от него хотят. Сколько зуботычин и побоев пришлось вынести несчастному за этот самый страшный месяц в его жизни!

Месяц? Да, ровно четыре недели пробыл Давид Людвиг Блох на фабрике смерти. Возможно, этот глухой долговязый еврей попросту надоел лагерному начальству и от него решили избавиться. Ведь каждый день в концлагерь прибывали новые заключенные.



Скрипка. Автор Д.Л.Блох

После погромной «хрустальной ночи» около 10 000 евреев со всей Германии и даже Австрии были брошены в Дахау. В спешном порядке строились бараки. От умирающих и больных избавлялись с помощью газовой бани и крематория. Давид едва верил собственным глазам, когда лагер-

ные ворота раскрылись и выпустили его на свободу.

Правда, свобода эта была тусклая и голодная, с желтой звездой на лацкане пальто, с ежедневной явкой в отделение гестапо. Знакомые, встречаясь с ним, отворачивались, он перебивался случайными заработками: таскал корзины с овощами, подметал тротуары. Ни красок, ни бумаги, конец всему...

Прошел почти год, и вот однажды он вынул из почтового ящика письмо. Из Соединенных Штатов Америки. От двоюродного брата, которого он никогда в жизни не видел. Тот писал, что безуспешно старался оформить визу для Давида, но ничего – увы ! – не получилось. Многие евреи едут в Шанхай, советовал брат, там принимают эмигрантов без всяких виз. Американский кузен готов был перевести Давиду небольшую сумму для поездки в Китай.

Давид расхохотался – впервые, пожалуй, после выхода из лагеря. Ну и загнул братец – ближний свет этот Шанхай! Но уже к вечеру он размышлял иначе – а что ждет его здесь? Голодная смерть, новый концлагерь? И на завтра, собрав всю наличность, отправил срочную телеграмму в Штаты: «Спасибо. Жду».

Через полгода скитаний ему удалось, наконец, добраться до Шанхая. Здесь уже нашли приют более двадцати тысяч евреев почти из всех стран порабощенной Гитлером Европы. Не сразу привык он к новой жизни. Жалкая лачуга из бамбука и фанеры, постоянное недоедание, изнуряющий субтропический климат... Но ведь ни одного нациста со свастикой на рукаве! Ни гестапо, где надо отмечаться, ни желтых звезд – свобода! Он бродил по причудливым улочкам этого огромного мегаполиса, любовался нефритовой статуей Будды, пагодами, живописной набережной Янцзы.

Захватив блокнот и набор карандашей, художник часами наблюдал чужую жизнь – докеров в порту, продавцов газет,

чистильщиков обуви, рикш. С поразительной восприимчивостью впитывал особенности китайского быта, а вернувшись домой, переносил сделанные эскизы на дерево. (Весь набор инструментов – стамески, лобзики, резцы – были предусмотрительно вывезены из Германии!). Циклы гравюр «Рикши» и «Дети», которые он показал на выставке в 1942 году, сделали его имя известным.

Несколькими годами позже Давид Блох познакомился с китайкой Ченг Дисиа, тоже глухой от рождения. Супруги страстно хотели детей, но опасались: вдруг и потомство окажется лишенным слуха. К счастью и великой радости родителей, у обоих сыновей с ушами все было в полном порядке. Родились они уже в Соединенных Штатах Америки, куда, с помощью все того же американского кузена, перебрались супруги Блох.

Они обосновались в Монт Верноне, близ Нью-Йорка. Скитальческая жизнь осталась позади. Впервые художник обрел просторную, оборудованную всем необходимым мастерскую. Занимался литографией, резьбой по дереву, делал росписи по фарфору. Работы Давида Блоха выставлялись на престижных вернисажах, искусствоведы писали о нем хвалебные статьи. В 1969 году по просьбе президента Линдона Джонсона он изготовил великолепный чайный сервиз для Белого Дома.

И все же прошлое не уходило из его памяти. Осколки «хрустальной ночи» навсегда засели в сердце. После долгих колебаний Давид решил все же поехать в страну, где родился и едва не погиб с миллионами таких же, как он.

Нетрудно представить себе, что испытал бывший узник Дахау, оказавшись почти четыре десятилетия спустя среди немногих оставшихся бараков и сторожевых вышек. Он нашел ту площадку в десятом ряду, теперь аккуратно засыпанную гравием, где размещался его барак. Стоял, не скрывая

слез, вспоминая тех, кто лежал рядом с ним на нарах, кто дважды в день, под снегом и дождем, стоял на апельсплац, кто так и остался здесь навечно...

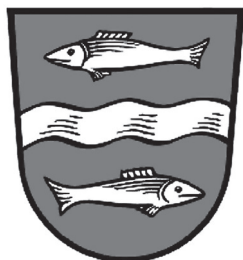
Возвратившись домой, в уютный тихий Монт Вернон, он душой продолжал жить там, в аду Холокоста. Одна за другой рождались его картины, посвященные погибшим: «Тысячелетний рейх», «Стук в ночи», знаменитый цикл «От А (Адольф Гитлер) до Z (циклон В)», «Кричащие руки», «Помоги мне, мама».

В каждом рисунке – неостывающая боль сердца, немой крик проклятия фашизму. Лаконичными средствами художник достигает потрясающей образности и выразительности. Вот заключенный со скрипкой. Вместо лица голый с провалами глаз череп – это музыка смерти, скорбящая над тысячами жертв, аккуратно выстроенных в виде фашистских свастика

По общему признанию его коллег-художников, Давид Людвиг Блох был наиболее ярким и талантливым выразителем темы катастрофы европейского еврейства.

Умер художник в возрасте 92 лет мирным солнечным утром 16 сентября 2002 года в день Йом-Кипур. Выставка его произведений, как и мечтал он, была показана в Дахау в 2004. Несколько своих работ Давид Людвиг Блох завещал мемориалу бывшего концлагеря. Среди них и знаменитая «Свастика», которая потрясла меня и с которой началось мое знакомство с этим замечательным «художником Холокоста»

И НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОГО ЕВРЕЯ...



Герб города Фишах

Первое лето в Германии мы провели в маленьком баварском городке Фишах. Название его тотчас же ассоциируется с чем-то рыбным («фиш»). Но оказалось, что городок обязан своим именем некоему Вельхвину де Фишаха, который в 981 году, в эпоху римской колонизации, уложил здесь первый камень в фундамент своего дома. Хотя в гербе города использована именно рыбная тема.

Несмотря на свою более чем тысячелетнюю историю Фишах отнюдь не выглядит древним, затрепанным временем. Поток машин, мчащихся в Штутгарт и Мюнхен, роскошные ультрасовременные супермаркеты, станция техобслуживания автомобилей с автоматической мойкой – все это свидетельствует о том, что ритм этого баварского местечка не намного уступает столичным городам..

И все же следы швабской национальной традиции, старого, но бережно сохраняемого в памяти потомков быта и обычаев, встречались мне на каждом шагу. И милые гномики в палисадниках, и фигурные флюгеры на остроконечных черепичных крышах, и гирлянды удивительных цветов, свешивающихся с балконов, и шумные, с песнями и застольем праздники – все это как-то естественно сочеталось с приметам сегодняшнего дня.

Прогуливаясь по Фишаху, я заметил в самом центре стрелочный указатель «Am Judenhof», т.е. «У Еврейского двора» или «У Еврейской усадьбы». До этого мне как-то не приходило в голову, что в этом маленьком местечке могли жить когда-то евреи. Известно ли что-нибудь об их судьбе?

Как оказалось, первые еврейские поселенцы появились в Фишахе еще в XVI веке. Благодаря т.наз. «Юдендекрету», им разрешено было проживание в Швабии. И вскоре именно Фишах стал центром этих поселений. Изгнанные испанскими инквизиторами и французскими клерикалами, евреи встретили здесь если не радушный, то, во всяком случае, лишенный ненависти и пренебрежения прием. Христиане и евреи жили в общем-то в мире и согласии, еврейская община активно участвовала в благоустройстве городка, в частности, значительные пожертвования были сделаны на строительство железной дороги, соединившей город Аугсбург с Фишахом. В городе работала синагога, еврейские дети учились в Народной еврейской школе.

Так было до 1933 года, когда к власти пришли фашисты. 15 сентября в Нюрнберге был опубликован за подписью имперского канцлера Адольфа Гитлера и министра внутренних дел Фрика закон о гражданстве. Пункт 4 недвусмысленно провозглашал: «Гражданином государства может быть только тот, в чьих жилах течет немецкая кровь. Поэтому евреи не могут принадлежать к немецкому народу».

По всей стране началась оголтелая юдофобская кампания. Молодчики в коричневых рубахах били стекла в еврейских магазинах, оскверняли кладбища, поджигали синагоги. Правда, в Фишахе подобных бесчинств на первых порах еще не было – маленький городок, все друг друга знают, но и здесь с каждым днем устанавливались новые порядки для «людей второго сорта».

Пока еще можно было выехать за границу, состоятельные фишахские евреи смогли воспользоваться этим. 13 человек уехало в Англию, 11 – в Южную Америку, 10 – в США, 4 – в Палестину. Оставшиеся жили в постоянном страхе. Один за другим следовали административные ограничения, евреи изгонялись из всех областей общественной, культурной и

экономической жизни. 14 ноября 1935 года они были лишены избирательных прав, браки между германскими гражданами и евреями категорически запрещались. Прекратила свое существование еврейская школа, а через несколько месяцев власти закрыли и синагогу. Дом, в котором она помещалась, существует и поныне. Сейчас в нем находится зубоврачебная клиника. О том, что ранее здесь находился еврейский молитвенный дом, напоминает скромная медная табличка.

Но это была только начальная стадия «окончательного решения еврейского вопроса». День 1 сентября 1939 года, когда германские войска вторглись на территорию Польши, развязав тем самым Вторую мировую войну, стал черным днем и для немецкого еврейства.

Один за другим в Фишах, как и в другие германские города, приходили бесчисленные, унижающие человека предписания. Евреям запрещалось выходить из жилищ в летнее время от 21 до 5 часов утра, зимой от 20 до 6 часов. С 22 августа евреев Фишаха лишили права ездить на велосипедах, а двумя месяцами позже гестаповцы Мюнхена, под видом борьбы с контрабандой, произвели повальные обыски в домах евреев, конфисковав деньги, драгоценности, вплоть до продуктов питания. Отчаявшись и не видя иного выхода, некоторые из фишахских евреев предпочли унижениям добровольный уход из жизни. Повесился на чердаке собственного дома 60-летний Луис Гетц, отравилась Фани Левенбергер, еврейская жена торговца лошадьми Зигмунда Левенбергера.

По распоряжению Министерства внутренних дел Германии, все лица еврейской национальности, начиная с семи лет, должны были носить на левой стороне одежды желтую звезду «величиной с ладонь», с черной надписью на ней „Jude“. Евреям было запрещено ношение орденов, медалей и других знаков отличия. Отныне «неграждане еврейской

национальности» не имели права ездить в спальном вагоне и обедать в вагоне-ресторане. Им разрешалось пользоваться только сидячими местами, да и то лишь в тех случаях, когда последние не востребованы другими пассажирами, «настоящими арийцами».

Бургомистр Фишаха на первых порах не требовал от местных евреев обязательного ношения желтых звезд, ибо в небольшом городке и без этих оскорбительных меток был известен каждый еврей. Но эта вольность вскоре была пресечена местным группенляйтером.

Зимой 1941/42 года евреи Фишаха должны были под угрозой смертной казни сдать все имеющиеся у них шерстяные и меховые вещи, а также пишущие машинки, велосипеды, фотоаппараты. Отныне евреям запрещалось держать домашних животных, давать заказы арийским ремесленникам и употреблять в пищу дефицитные в военной Германии продукты: мясо, рыбу, консервы. Это стало началом биологического уничтожения евреев.

31 июля 1941 года фюрер издал приказ, согласно которому проживавшие в Германии лица еврейской национальности должны быть изгнаны из страны. Фишахской еврейской общине было сообщено, что 1 апреля 1942 года из города будут депортированы 56 евреев. К 11 часам изгнанники покинули свои наглухо заколоченные дома и последовали по знакомым с детских лет улицам с милыми гномиками в палисадниках на железнодорожную станцию, кстати, построенную в свое время при их содействии. Заботливые «отцы города» постарались, чтобы «арийские» дети не могли наблюдать столь тягостное зрелище (ведь в веренице изгнанников были и их сверстники и бывшие друзья) и предусмотрительно продлили занятия в школе на два часа. Перед посадкой в вагоны евреям было объявлено, что их везут в Аугсбург. На самом же деле поезд проследовал через Мюн-

хен в Польшу, где всех их ждал Освенцим.

В Фишахе оставалось не более десятка евреев, в основном пожилых. 10 августа была проведена вторая (и последняя) депортация фишахских евреев. Троим мужчинам (среди них 86-летний Давид Гунц) и семи женщинам была уготована смерть в «гуманном» лагере Терезин.

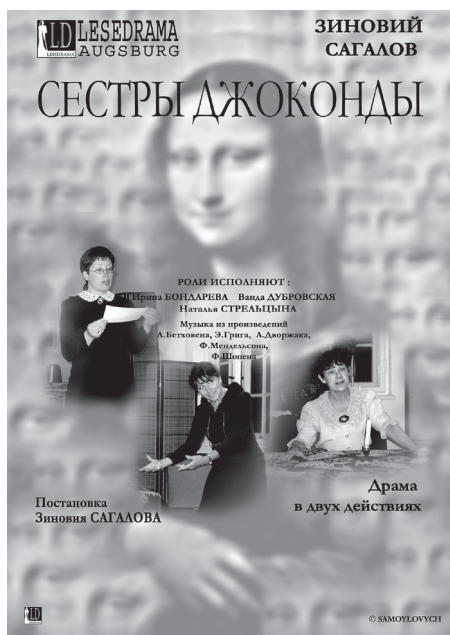
...Сегодня в Фишахе около 5000 жителей. И нет ни одного еврея. В память о погибших в центре городка, под шатром огромной развесистой липы, в октябре 1999 года была установлена мраморная плита с высеченной на ней звездой Давида.

Театральный роман. Продолжение.



Аугсбургский театр „Lesedrama“. На репетиции.

О «СЕСТРАХ ДЖОКОНДЫ» ЗАМОЛВЛЮ Я СЛОВО...



Плакат «Сестры Джоконды».
К премьере спектакля в аугсбургском театре «LESEDRAMA»
Дизайнер Я.Самойлович (2004 г.)

Наш аугсбургский театр «Lesedrama» открылся 13 июня 2004 года. В клубе Еврейской общины мы показывали мою пьесу «Сестры Джоконды».

Выбор пал на нее, потому что уж очень «ложилась» она на двух милых женщин, с которыми, загораясь друг от друга, мы начали строить театр. И Ванда Дубровская, и Ирина Бондарева были, что называется, «театралками», любили театр, преклонялись перед его «светилами», но, что гораздо важнее – сами были от природы способными к сценической игре и ее трансформациям.

Уже потом, в процессе нашей работы, я выявил в каждой из них подлинно творческую радость от театральной игры, от наших репетиций, ради которых порой приходилось жертвовать и личным временем, и семейными обязанностями.

Для меня рождение «Lesedram'ы» было долгожданным воплощением мечты о «своем» театре. Ведь часто в далеком уже теперь Харькове, сидя на репетициях с Беляцким, или в Москве с Хаитом, я испытывал неутолимый зуд – вылепить эту сцену не так, а иначе и, глядя потом на этот спектакль, вспоминал с сожалением о так и не воплотившейся своей придумке. Ничего особенного, обычное чувство автора-драматурга, видевшего этот эпизод иным во время его рождения на бумаге. «Мольеровский», так сказать, синдром...

И вот теперь представлялась свобода воплотить свои пьесы на сцене.

Правда, сцены как таковой, т.е. возвышения над головами зрителей, на первых порах не имелось, а самому приходилось быть не только постановщиком, но и завмузом, а в некоторых спектаклях и сценографом.

Первым намечался спектакль «Любовные игры Сары и Элеоноры».

Во-первых, я написал эту пьесу в Германии, т.е. сравнительно недавно, считал ее удавшейся и она еще сохранялась в живой («оперативной») памяти. Во-вторых, когда я познакомился с Вандой Дубровской, увидел игру ее глаз, броскую манеру одеваться и желание эпатировать окружающих, («прикалываться», как теперь говорят), я тут же сказал себе: «Вот она, Сара Бернар, которую я ищу». В Ире Бондаревой была искренность и задушевность, присущие, как я это рисовал себе, Элеоноре Дузе. Я прочитал пьесу, милые дамы пришли в восторг, каждая из них уже учуяла себя в образе великой примадонны...

Но... Наши планы разбились, как и у Остапа Бендера перед красочной витриной универмага в городе N, к которой было приколото объявление «ШТАНОВ НЕТ». Среди наших знакомых мы не могли найти мужчину на роль Жозефа – импресарио обеих примадонн. Тогда я вспомнил о целиком «феминистской» пьесе «Сестры Джоконды» – о трех музах Ильи Ефимовича Репина, ставших образами его картин. Самого мэтра в пьесе не было, «короля играла свита». И это было то, что надо.

Теперь надо пояснить, почему мне в те далекие восьмидесятые годы пришла в голову мысль писать пьесу о Репине без него самого. Клянусь, не в подражание булгаковскому «Пушкину», где от первой до последней реплики все действующие лица говорят о поэте, а его самого нет. И не было желания как-то необычнее и вычурнее придумать «биографическую» пьесу – вот, мол, без главного лица, в этом фишка!

Нет! Все было гораздо проще и объяснялось совсем уж приземленными обстоятельствами. В 1985 году состоялась премьера моноспектакля «Три жизни Айседоры Дункан». Этим было положено начало моему многолетнему сотрудничеству с главным режиссером Харьковской филармонии Григорием Павловичем Грумбергом.

В годы послесталинского театрального искусства режиссеру-еврею, с огромным трудом, всеми правдами и неправдами получившему вождеденный диплом, дозволялось работать только в «театральной черте оседлости», т.е. в театрах кукол, филармониях, музыкальных театрах. Руководство драматическими театрами, составлявшими основной оплот идеологического воспитания, было доверено лицам с «правильной» пятой графой и партбилетом в кармане. Такое распределение творческих сил привело к парадоксальному явлению – драматические театры с каждым годом станови-

лись закоснелым оплотом однообразия (от Архангельска до Якутска), а кукольники и филармонические режиссеры, избавленные от бдительного партийного контроля, могли позволить себе кое-какие новации и эксперименты.

Говорю это я совсем не для того, чтобы представить Г.П. Грумберга театральным новатором. Выпускник Киевского института имени Карпенко-Карого, он был скорее приверженцем школы русского психологического театра. Но областная филармония, в составе которой были оркестр, хор, эстрадная группа, не занималась спектаклями. Чтецкий коллектив состоял из нескольких артистов, которые работали практически сами по себе – подбирали литературный материал (в основном стихи) и музыку сопровождения. Главный корректировал их работу – в этом не было ни творчества, ни полета фантазии. Отдаю должное Григорию Павловичу – он искал, думал, как вырастить свой маленький театрик на сухой филармонической почве.

Я со своим предложением оказался как нельзя кстати.



Григорий Грумберг

– Давайте сделаем спектакль о жизни Айседоры Дункан, – предложил я.

– С балетом? С персонажами? Вы забываете, что у меня лишь несколько чтецов, которые работают индивидуально, сами по себе.

– Я имею в виду монодраму, это должна быть исповедь Айседоры о ее прекрасной и трагической жизни.

И я рассказал ему то, что мне известно было об А. Дун-

кан. Исповедь, помноженная на музыку и свет – это ведь в сущности и был театр.

Мое предложение пришлось ему по душе. В жанре моноспектакля явно просматривалась возможность соединения традиционного для филармонии чтецкого театра и театра драматического. Я написал заявку, худсовет филармонии ее утвердил. Не обошлось без скептических речей: филармония, мол, не театр; у нас нет ни опыта, ни возможностей для постановки и зачем нам подменять театр. И чтецы, и эстрадники справедливо предчувствовали, что новому театру будут отданы и симпатии, и время главного режиссера. И уже ревновали. Спасло то, что учреждения культуры постепенно переходили на хозрасчет. Концерты симфонической музыки и вечера поэзии не собирали зрителей. А Грумберг, выступая на худсовете с защитой нашей идеи, говорил, что трагическая судьба Айседоры, породившая десятки различных легенд, будет способствовать интересу к спектаклю. Ведь о великой танцовщице на русском языке почти ничего не опубликовано.

Действительно, в ту пору Айседора Дункан причислялась к «персонам нон грата». Что-то проскальзывало в журналах, в воспоминаниях современников. Удалось выяснить, что еще при жизни Есенина были изданы ее мемуары в русском переводе, но в Харьковской библиотеке им. Короленко этой книги не было.

Пришлось ждать командировки в Москву и там, нагло отложив все служебные дела, я нырнул в фонды Ленинской библиотеки.

Мемуары Дункан. «Моя жизнь» нашлись в отделе редкой книги. Ксерокса в те годы еще не существовало, заказы читателей на копирование выполняла только лаборатория фильмографии. Мне удалось сделать микрофильм книги, а по приезде в Харьков отпечатать эти кадры на фотобумаге.

Несмотря на то, что воспоминания заканчивались 1921 годом, основа была. Жизнь с Есениным пришлось восстанавливать по мемуарам современников.



В роли Айседоры Дункан
Людмила Важнева

На худсовете филармонии Грумберг познакомил меня с будущей Айседорой. Не высокая, не статная, не женщина-вамп. А застенчивая, в стареньком зимнем пальтишке, в отороченных мехом, отнюдь не молодежных и не новых сапожках, Людмила Важнева была удивительно не «той», какой я представлял себе Айседору. А ведь пьеса-то от первого лица: «Я, Айседора...» Поверит ли зритель этой маленькой скромной женщине, когда она произнесет эти

слова?

Поверил. Не зря более года Грумберг работал с актрисой, уходя с ней от эстетики «третьего лица», от рассказчицы к живой Айседоре. Люде удалось сыграть душу Айседоры Дункан. На премьере в мае 1987 года зал встал с криками «браво». Все понимали – театр одного актера родился. Впоследствии, эмигрировав в Израиль, Грумберг открыл свой тель-авивский театр «Дьюкан» («Портрет») именно этим спектаклем, в котором блеснула своим талантом новая



**«Израильская» Айседора
Элика Вольфсон
Театр «Дюкан», Тель-Авив**



**В роли Айседоры
артистка Е. Лысяк
(Крымский муз.театр)**

Айседора – Элика Вольфсон.

Харьковская премьера памятна для меня еще одним событием, о котором попутно хочу рассказать. В моих пьесах до этого дня я выступал вместе с соавтором – режиссером. С одной стороны, я еще не верил в свои силы, в знание специфики театра, с другой, чего таить, заинтересованность режиссера сокращала путь сценической реализации пьесы. Большею частью все же сотрудничество в режиссером не носило формального характера – оживляло мысль, обогащало действие чисто постановочными «ходами». Совместная застольная работа, мое участие в репетициях – я всегда говорил об этом – были полезны, научили многим секретам тонкого сценического ремесла. Но мои нетеатральные друзья были нетерпимы, частенько корили меня: «Опять ты взял тунядца. Кончай, старик, с этими приписками». После триумфа «Айседоры», на афише которой был один автор, друзья пристали с ножом к горлу. И я поклялся, что отныне никогда... ни с кем не согрешу... И клятву выдержал, хотя



**«Три жизни Айседоры Дункан». В гл. роли Людмила Важнева.
Премьера в Харькове.1987 г.**

постановку по меньшей мере двух моих пьес потерял из-за своей неуступчивости...

Возвращаюсь к спектаклю «Три жизни Айседоры Дункан». Он шел с аншлагами на сотом, на двухсотом спектаклях – такого еще не было в истории Харьковской филармонии. Но в чтецкой команде, кроме Люды Важневой, у Грумберга была еще и Татьяна Андреевская. И та, и другая – лауреаты Республиканского конкурса чтецов. И всегда шли ровно, не отрываясь друг от друга. Но теперь в репертуаре Людмилы был моноспектакль, и Татьяна, испытывая вполне понятную творческую зависть, загорелась мечтой сыграть нечто подобное.

– Придумай «моно» для Тани, – говорил мне Грумберг. – Она способная, фактурная актриса. Только сюжет должен быть харьковский, вторую Дункан мне не утвердят.

Сколько монопьес сейчас для режиссера – выбирай любую на вкус! И русские, и украинские авторы пробуют себя в этом жанре, а сколько переводных замечательных моно-

драм! И комедий, и фэнтэзи, и психологических пьес! А ведь тогда ничего этого, как твердокопченной колбасы, не было. Вот и просит режиссер автора написать еще одну монодраму. Смешно и приятно!

Но о чем? О ком? Я уже писал, как зарубили в Министерстве культуры УССР мою пьесу о Репине. Материал остался – несколько тетрадей выписок.

Но ведь не Репин должен «исповедоваться» в моей будущей пьесе, я должен придумать монодраму для Татьяны. Тогда и возникла мысль – дать слово трем портретам любимых женщин великого Мастера. Разные характеры, разные судьбы. А значит, различные способы самовыражения. Сможет ли Таня почти на глазах у зрителя совершить эти трансформации?

«Сестры Джоконды» Татьяна играла многократно – с огромной душевной отдачей. Спектакль в Харькове получился неплохим, о нем писала пресса, мы его возили на родину Репина в Чугуев, но я всегда чувствовал некоторую натяжку в том, что одна актриса исполняет эти разные роли, играет различные характеры. Будь у Грумберга три актрисы, думал я, спектакль получился бы более впечатляющим.

Вот почему в Аугсбурге, вынужденно отказавшись от «Сары и Элеоноры», я решил ставить эту чисто женскую пьесу, для чего мне понадобилось переделать ее для троих актрис. Три монолога в харьковском варианте следовали друг за другом. Здесь же героини вступали в действие несколько раз на протяжении всей пьесы, перебивая друг друга и как бы комментируя соперниц.

Работая над литературным вариантом, я уже «позаботился» о распределении ролей. Елизавету Званцеву, любимую ученицу мастера, должна была сыграть мягкая и поэтичная Ирина Бондарева, неординарную натуру второй жены Мастера воплотит Ванда Дубровская, а вот на роль серенькой

как мышка, неприметной Веры Репиной, брошенной Ильей Ефимовичем вместе с четырьмя детьми, пока что никого не находилось. Совершенно случайно кто-то из моих дам, будучи в гостях, услышал тост, произнесенный глубоким низким голосом хозяйкой дома Наташей Стрельцыной, и предложил ей примкнуть к «нашему безнадежному делу».



Первые аплодисменты. Премьера «Сестер Джоконды». Рождение театра «LESEDRAMA»-13 июня 2004 г. Слева направо: В. Дубровская, И. Бондарева, З. Сагалов, Н. Стрельцына

Более точного попадания я не мог себе представить. И комплект был собран.

«Сестры Джоконды», которыми открылся театр «Lese-drama», стали его визитной карточкой. Вслед за премьерой мы показали его в Библиотеке толстовского фонда в Мюнхене. Русскоязычная публика в баварской столице, состоящая в основном из бывших москвичей и петербуржцев, более взыскательна, чем наш аугсбургский зритель, более избало-

вана гастролерами. Может быть поэтому спектакль шел на нерве в сосредоточенной тишине зала, но по аплодисментам между картинами мы понимали, что взяли зрителя в плен. В наш адрес было сказано много лестных слов, но дороже всех мне было мнение Эрнста Петровича Зорина, в прошлом артиста Вахтанговского театра, много лет проработавшего потом на радио Свободы.

– Я сел с краю, думал тихонько улигнуть, но как видите... И получил громадное удовольствие. Во-первых, от самой пьесы: как вам пришел в голову такой оригинальный ход! (Знал бы он, в силу каких обстоятельств пришлось прибегнуть к такому «ходу»!) А во-вторых, от ваших актрис – они настолько убедительны и достоверны, что вполне могут конкурировать с профессиональными, особенно с теми, которые приезжают в Германию с антрепризой.

Слова Зорина я передал всем «сестрам». Это было признание их как состоявшихся актрис, меня – как режиссера, а нашей театральной группы как театра «Lesedrama». Мы играли «Сестер» в других городах Баварии – в Бамберге, Штраубинге и добрались до Санкт-Петербурга, где показывали «Сестер Джоконды» на 2-м Международном фестивале аматорских театров. Авторитетное жюри во главе с Г. Тараторкиным отметило наш спектакль двумя дипломами – «за обращение к русской культуре» и «за музыкальное оформление спектакля»

АВТОРСКИЙ ТЕАТР «LESEDРАМА» Избранные страницы



**«Любовные игры Сары и Элеоноры». В ролях: Г. Горвиц (Жозеф),
И. Бондарева (Элеонора Дузе)**



**«Набережная Круазетт». Ванда Дубровская
в роли Зинаиды Величко**



6 Наш город

май 2008

СТРАСТИ ПО ИЛЬФУ И ПЕТРОВУ

Чем дальше живешь в городе, тем все более разным для тебя он становится. Обрести новых знакомых и друзей, «чувствовать» себя равноправным гражданином своего города — Аугсбурга. Можно быть интровертом, пальть по течению, жалуясь на неинтересную, однообразную жизнь. А можно, как герои этой статьи, занять интересом, хоть и совершенно неприбыльным, делом. Речь идет о театральном коллективе «Leasedrama» под руководством Зиновию Сагадова. 6 апреля этого года родился очередной (надеюсь не последний!) спектакль — комедия «Васисуалий и Варвара», роль в котором испол-

нили непрофессионалы, но очень неравнодушные актеры — энтузиасты. В течение нескольких месяцев они ходили на репетиции, из собственных «шалашов» мастерили костюмы, разучивали тексты и песни, и спектакль состоялся.

Екатерин Кудря, исполнившая главную роль, известна как успешный литератор. Достоянно и интересе избрала в поиске его фамилию, как вы получили посетителю поздравство сайтов с его участием. А в этом спектакле он прервал пожелал себе как пожелает и актер.

Наталья Куровская так живо сыграла свою героиню, что

после спектакля многие спрашивали, а не было ли у нее актерского опыта? Наталье — необыкновенной чешке. Ее энергия хватало бы на маленькую ГЭС. По-порочному ей завидую: она всегда востребована. Ее не заставил дома, аответственно охотил от натуры.

Пришла и восторг всех зрителей Жюль Ульянова. Сюрпризом ее южная роль пролетариата с востока была настоящим удовольствием. Мы всегда ждем встречи с вами. Радуйте нас своими новыми спектаклями. Удачи вам.

Спектакль сопровождал виртуозной игрой на баяне. Талант трудился, не покладая рук и голоса.

В спектакле участвовали также Ольга Шурин, Роман Биташев, Анна Финсер и Светлана Крутских. Конечно и виртуозно решили оформление сценарий художники Анна Азенштат и Галина Колотова. Большое всем спасибо за доставленное удовольствие. Мы всегда ждем встречи с вами. Радуйте нас своими новыми спектаклями. Удачи вам.

Э.Ж.
Фото Игоря Довлатова

Участники мюзикла «Васисуалий и Варвара» и отзыв в газете «Наш город»



Спектакль «Последняя суббота». В ролях В. Дубровская и Е. Кудря

Лица из прошлого



Нар. арт. Украины В.Маляр в роли Поэта
(спектакль «Шлях»)

В ходе работы над пьесой «Шлях» мне посчастливилось познакомиться с не известными ранее архивными документами о двух современниках Тараса Шевченко. Судьбам этих незаурядных людей посвящены два очерка этого раздела.

КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ ВЕЛИЧАЙШЕГО БЕЗБОЖНИКА

Младенец Володя Ульянов был крещен в Никольской церкви города Симбирска. Читали над ним, как и положено, Символ Веры, окунали в купель и сделали соответствующую запись о данном событии 16(28) апреля 1870 года. И, как положено, появились у него в связи с этим крестные родители: вдова коллежского асессора Наталья Ивановна Ауновская и действительный статский советник (сиречь генерал) Арсений Федорович Белокрысенко. Последний был дружен с Тарасом Шевченко. И, собирая материал для пьесы «Шлях», я наткнулся на фамилию этого человека, узнал, что он был выпускником Харьковского императорского университета, и стал по крупицам искать все, что сохранилось о нем. Постепенно выростала передо мной эта недюжинная личность, вобравшая в себя лучшие черты харьковской научной школы, гражданина высокой нравственности, который заслужил свое скромное, но достойное место в истории не только тем, что принял от купели величайшего безбожника.

Родился он, как удалось выяснить, 27 октября 1818 года в с.Комиссаровка Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии (ныне Днепропетровская область). Восемнадцатилетним юношей Арсений приезжает в Харьков

и поступает в университет. В сохранившемся «Конduitном списке казеннокоштных студентов Харьковского Императорского университета за 1839 год» А.Ф. Белокрысенко числится проходящим обучение на втором отделении философского факультета.

В те годы на трех факультетах университета обучалось 450 студентов, причем треть из них на философском, остальные на юридическом и медицинском. Философский факультет был разбит на два отделения. На первом готовили будущих историков и филологов. На втором, где учился Белокрысенко, никаких сугубо «философских» дисциплин не было и в помине. Основными предметами здесь были физика, география, математика, естествознание и технология.

Поскольку в «Конduitном списке» против фамилии Белокрысенко было написано «поведение хорошее», можно сделать вывод, что юноша в темно-серой шинели был заведомо не танцевальных вечеров небезызвестного в Харькове «раздватриса» Кржисевича или участником буйных студенческих попок, а, не манкируя занятиями, «грыз науки» с упорством именно «казеннокоштного» студента, над которым всегда висел дамоклов меч лишения благотворительной милости. Тем более, что «постигать непознанное», по словам самого Арсения Федоровича, было самым увлекательным занятием в жизни.

К концу университетского курса обозначился круг особых пристрастий Белокрысенко. Науки о земле, землепользовании, лесных и водных богатствах вызывали наибольший его интерес. Не удивительно поэтому, что после окончания университета в 1842 году он поступил «на службу по удельному ведомству» и за все оставшиеся сорок три года своей жизни прошел путь от помощника землемера до управляющего удельной конторой.

В дореволюционной России «уделом» называлось недви-

жимое (земельное) имущество, принадлежащее совокупно всей императорской фамилии. Во владении царской семьи находилось несколько миллионов десятин отборных земель, лугов, леса. Управление этими несметными богатствами велось Департаментом уделов через местные конторы, одной из которых и была Симбирская, руководимая А.Ф. Белокрысенко.

Люди, близко знавшие Арсения Федоровича и работавшие вместе с ним, сразу же признали в нем «человека большого ума, огромной памяти, энергии и личного усидчивого труда; при кажущейся наружной суровости он обладал редкою добротой души, необыкновенною простотою и доступностью: двери его кабинета всегда были отперты и каждый свободно, без доклада, мог туда входить». Если учесть к тому же, что квартира управляющего находилась в самом здании Симбирской удельной конторы, на Покровской площади, то станет ясно, что все оставшееся от короткого сна время этот неутомимый трудоголик посвящал делу.

А дел было невпроворот. И не только в кабинете за столом. В лютые морозы и в осеннюю непогоду доводилось ему выезжать «на места», в сельские глубинки. Разбирал жалобы удельных крестьян, удовлетворял, по возможности, их просьбы на выделение пастбищ для скота, давал разрешение на продажу леса, боролся с самовольными порубками.

Его стараниями было организовано искусственное разведение хвойного и лиственного леса – питомник на площади 1600 десятин, который снабжал всю губернию отменными саженцами наилучших пород.

Лишь немногие из близких знали, что лес для Арсения Федоровича был не скопищем деревьев, измеряемых десятинами и рублями, а живым существом, которому он был безраздельно предан.

Личная жизнь Арсения Федоровича не сложилась – может быть, сам был виновен: дела, разъезды по губернии не оставляли времени для молоденькой супруги. Забрав троих детей, она уехала из Симбирска, оставив Арсения Федоровича бобылем до конца дней.

Нет ничего удивительного в том, что лишенный семьи Арсений Федорович часто и охотно навещал своих друзей. Тепло чужого очага согревало озябшую душу, возясь и забавляясь с детишками, он и впрямь в эти мгновения чувствовал себя счастливым.

Не случайно Илья Николаевич Ульянов выбрал в качестве восприемника от купели для новорожденного своего сына Владимира именно Арсения Федоровича Белокрысенко. Помимо дружбы, обоих роднило искреннее религиозное чувство. Несмотря на служение таким сугубо материалистическим наукам, как естествознание и медицина, оба не забывали «дорогу к храму», соблюдая все основные каноны веры.

«Отец наш был искренне и глубоко верующим человеком и воспитывал в этом духе детей» – писала в своих воспоминаниях А.И. Ульянова-Елизарова. Но Ульяновы-дети шли за отцом пока были малы. Сперва поднял бунт Александр.

– Саша, ты ко всеобщей пойдешь?

– В ответ короткое и безжалостное, как удар наотмашь:

– Нет!

– Следующим отпал от церкви младший брат, во всем бравший пример со старшего.

«К пятнадцати годам у Владимира Ильича сложилось уже твердое убеждение, что религия – это выдумка людей, сознательный или бессознательный обман. И пятнадцатилетним мальчиком он сорвал у себя с шеи крест и далеко забросил его», – вспоминала Н.К.Крупская.

Разрыв сыновей с религией, очевидно, не прошел бес-

следно для отца. Как он бывал горд и счастлив, когда все домочадцы, друг подле друга, стояли во время службы под сводами храма. А теперь... «Его волновало, что сыновья перестают верить», – писала Крупская.

«Если вы неверующий, то с какого возраста» – таким был один из вопросов анкеты всероссийской переписи для членов РКП (б) в 1922 году. Ответ Ленина: «... с 16 лет». То есть с 1886 года. В этом же году ушел из жизни Илья Николаевич Ульянов, а чуть раньше – его кум, крестный отец воинствующего безбожника...

Все субботы, вплоть до своей кончины, Белокрысенко проводил в гостеприимном доме Ульяновых. Дружба эта возникла с первых же дней переезда Ульяновых в Симбирск осенью 1869 года. Мария Ильинична Ульянова, Маняша, тоже, кстати, крестница Арсения Федоровича, вспоминала впоследствии: «Часто играл в шахматы Илья Николаевич со своим близким знакомым Арсением Федоровичем Белокрысенко – управляющим удельной конторой. Белокрысенко принимал участие и в деле народного просвещения в качестве члена училищного совета, и общая работа создавала у отца с ним особенную близость. Белокрысенко приходил к нам обычно по субботам, и они проводили с отцом время за шахматным столом, играя в шахматы, которые Илья Николаевич выточил сам на токарном станке еще в Нижнем Новгороде. Белокрысенко умер на несколько месяцев раньше отца, и я помню, как Илья Николаевич сказал однажды с грустью: «Вот и суббота, а поиграть в шахматы не с кем».

О чем только ни говорили, бывало, оба друга за шахматными баталиями. О неотложных мерах по строительству железной дороги, о развитии народных промыслов, о разработке полезных ископаемых. Прокладка телеграфных линий, строительство новых почтовых станций – все то, что волновало Арсения Федоровича, служило темой горячих

дискуссий и обсуждений. Белокрысенко передал в ведение народного образования ряд принадлежавших его ведомству зданий, где разместились детский приют, женское городское училище, учительская семинария. Однажды Арсению Федоровичу стало известно о бывшем студенте Петровской академии Н.А. Гернете, который томился в Вологодской ссылке, в Тотьме по делу Каракозова. Не испытывая особых симпатий к народникам, а тем более к революционерам-террористам, Арсений Федорович задумал все же вызволить его из чисто гуманных побуждений. Илья Николаевич посоветовал обосновать ходатайство потребностью в квалифицированных специалистах. Дело было непростое, вести его следовало тонко. Тексты прошений и ходатайств обсуждались тоже за шахматным столиком. Наконец, многоходовая комбинация дала результат: ссыльный Н. А. Гернет был переведен в Симбирск и занял должность титулярного советника в возглавляемой А.Ф. Белокрысенко удельной конторе.

Почти всю свою жизнь Арсений Белокрысенко прожил вдали от родного края, но тем не менее питал к «неньке Украине» горячую, сыновнюю любовь. Часто приезжали земляки с Екатеринославщины, из Харькова. Подолгу гостили в доме Арсения Федоровича. Что это были за вечера! Пели песни – и веселые, и со слезой, поминали ушедших из жизни, хохотали от казацких баек, обильно пересыпанных соленым «малороссийским» юмором.

Появляясь в доме Ульяновых после встречи с земляками, Арсений Федорович всегда казался помолодевшим, обновленным. Своим глуховатым, но берущим за душу баритоном пел под аккомпанемент Марии Александровны Ульяновой «Ой, на полі та й женці жнуть», свою любимую песню. А если бывал в особо приподнятом настроении, рассказывал (в который раз!) о своей встрече с «батьком Тарасом». И показывал драгоценнейшую реликвию – фотокопию авто-

портрета Т.Г.Шевченко с автографом поэта.

Их единственная встреча произошла в 1858 году в Нижнем Новгороде, где Шевченко, после ссылки, ждал разрешения возвратиться в Санкт-Петербург. Арсений Федорович специально приехал туда, предварительно списавшись со своим земляком (оба были с Екатеринославщины) Владимиром Ивановичем Далем, будущим великим лексикографом, творцом «Толкового словаря живого великорусского языка», который был коллегой Белокрысенко и тоже нес службу по удельному ведомству. По сведениям, полученным мною из ульяновского краеведческого музея, Т.Г. Шевченко успел во время встречи написать и портрет Арсения Федоровича. Он, к сожалению, не сохранился, как не осталось ни одного изображения нашего героя. Об этом мне поведали живущие в Ульяновске правнуки его – Лев Сергеевич и Валерий Сергеевич Белокрысенко. Они же обратили мое внимание на некролог, посвященный их предку, в газете «Симбирские губернские ведомости» от 7 декабря 1885 года.

Из него я узнал, что скончался Арсений Федорович от постигшего его «удара» на шестьдесят седьмом году жизни. Один перечень наград говорит о его заслугах перед Отечеством: ордена св.Станислава 2 и 1 степени, св.Анны 3, 2 и 1 степени, св.Владимира 3 и 2 степени, медали и даже перстень из кабинета Его Императорского Величества.

Похороны А.Ф. Белокрысенко состоялись 26 ноября 1885 года при огромном стечении народа. Последнюю почеть усопшему отдали сам губернатор и отпевавший покойного преосвященный Варсонофий, епископ Симбирский. Через некоторое время в той же ограде Покровской церкви был похоронен Илья Николаевич Ульянов.

Не знаю, уцелело ли до наших дней это старое кладбище. Но вот Никольская церковь, в которой крестили Володю Ульянова, безжалостно снесена. А кафедральный собор

взорван для того, чтобы расчистить место для памятника величайшему атеисту и безбожнику...

ПОЭТ И МАГИСТР

Магистр математики из Харькова и поэт Тарас Шевченко не были лично знакомы. Никогда не встречались. И даже не состояли в переписке. Но именно письма (точнее – одно из них) стали причиной рокового слома их судеб: один пустил себе пулю в висок, другого погнали по этапу в ссылку.

Впервые я узнал о Николае Алексеевиче Головко, когда собирал материалы к пьесе «Шлях». И хоть среди персонажей этой пьесы, посвященной поэту, не было магистра Головко, трагическая судьба его не отпускала меня. В библиотеках, в архивах я продолжал поиски.

...Новый 1850 год Шевченко встретил в Оренбурге. После окончания Аральской экспедиции, в которой ссыльный поэт участвовал как художник, его не отправили назад в Орскую крепость, а милостиво разрешили «для завершения картографических работ» остаться на некоторое время в городе.

Режим солдатчины, на которую рядовой Шевченко был обречен царским указом, был несколько смягчен.

Он жил теперь не в казарме, а на частной квартире, ходил иногда в гражданской одежде, переписывался (правда, тайным образом – через своих оренбургских доброжелателей) с украинскими и петербургскими друзьями. Гарнизонное начальство было осведомлено, что рядовой третьей роты пятого батальона, сосланный с «запрещением писать и рисовать», устроил в своем флигелечке художественную мастерскую. Знало об этом, но проявляло снисходительную



**Т. Шевченко – рядовой
Оренбургского гарнизона.**

терпимость вплоть до того дня, пока не грянул гром.

Произошло это так. Сразу же после нового года в Петербург поехал приятель Тараса Григорьевича, чиновник Оренбургской пограничной комиссии Сергей Левицкий. По просьбе Шевченко он встречался в столице со многими влиятельными лицами, пытаясь побудить их похлопотать об облегчении участи опального поэта.

Не все, к кому обращался Сергей, проявили готовность

вступить за «государственного преступника». Об этом с горечью написал Левицкий поэту. Но, чтобы не лишать Тараса Григорьевича надежды, сообщил ему, что познакомился с необыкновенно интересным, высокой души человеком, который готов сделать все для освобождения Шевченко из неволи.

«Это Николай Алексеевич Головко, – писал Левицкий, – магистр математических наук из Харькова: он очень хороший человек, и как только мы сойдемся с ним, первое слово о Вас. Он сотрудник некоторых журналов и очень умный молодой человек, жаль только, если он своей справедливостью наделает того, что и его сошлют куда-нибудь, потому что он и теперь под надзором полиции... Головко говорит, что хотя Вас и не стало, но на Ваше место есть до 1000 человек, готовых стоять за все то, что Вы говорили и что говорят люди, для которых правда так важна, что хотя

бы ее нужно было говорить и при самом Карле Ивановиче, то не испугались бы».

Такое вот неосторожное письмо отправил обычной почтой в Оренбург добрейший, бесхитростный и наивный Сергей Левицкий. Хорошо еще, что догадался обозначить царя «Карлом Ивановичем», как они обычно величали Николая I между собой.

Собирая материал для пьесы, я заинтересовался судьбой этого харьковского магистра. В архиве Харьковского национального университета им.Каразина мне удалось обнаружить такую запись:

«Николай Головка, время вступления в университет – 28 августа 1841 года, из дворян, на собственном содержании, ранее учился в пансионе Зимницкого».

Одна короткая строка – вот и все, что осталось в памяти альма-матер о человеке, проучившемся здесь пять лет, с блеском защитившем диссертацию на соискание ученой степени магистра математики. Все остальное, надо полагать, было изъято и тщательно уничтожено жандармами.

Но ведь не зря сказано: «Рукописи не горят». В Публичной библиотеке им.Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге мне посчастливилось найти диссертацию Н.А.Головка. (Как она сохранилась в нескольких сотнях метров от бдительного ока охранки, уму непостижимо!)

«О падающих звездах. Разсуждение Николая Головкава». (Не знаю, откуда взялось это «в» в конце его фамилии?). Дальше внизу: «Харьков. Печатано в университетской типографии.1847».

Менее всего эта тоненькая книжица, автореферат, напоминает сухой научный трактат. И неудивительно – ведь область исследования – Небо, где нет «ни верха, ни низа, ни падения, ни подъема; мы в мировом пространстве, мы в середине природы».

Сотни пытливых глаз, пишет Николай Головка, в течение многих столетий глядели в звездное небо, стремясь открыть тайну падающих звезд. Плутарх, описывая один из небесных пришельцев, называет его чудом. На берегах Ориноко падающие огоньки считались волосами звезд. Древним литовцам казалось, что богиня судьбы Верпея прядет нити жизни и, когда она обрывает нить, чья-то жизнь угасает...

Уже с первых строк очевидны широкая эрудиция (Головка в совершенстве владел многими европейскими языками) и романтическое мировосприятие молодого ученого. Но в последующих разделах математик берет верх над поэтом. Исследователь подвергает скрупулезному и вдумчивому анализу взгляды Лапласа, Гаусса и другие современные ему теории происхождения падающих небесных тел.

Не будем, конечно, оценивать эту работу с позиций нынешних научных представлений. Но 15 мая 1847 года на торжественном акте в университете она вызвала живой интерес ученых мужей. И двадцатилетнему диссертанту было рекомендовано продолжать свои научные труды в Пулковской обсерватории, оснащенной наиновейшими по тем временам астрономическими приборами. Так новоиспеченный магистр очутился в Петербурге. На квартире одной из своих знакомых Аси Левицкой Николай Головка и познакомился с приехавшим в отпуск ее родным братом Сергеем. Говорили не таясь, как свои. Магистр жадно слушал рассказы Сергея о ссыльном поэте, читал его новые, проникнутые горечью и страданием вирши:

**Либонь, уже десяте літо,
Як людям дав я «Кобзаря»,
А їм неначе рот зашито,
Ніхто не гавкне, не лайне,
Неначе й не було мене...**

Это был укор тем, кто забыл поэта. Вот тогда и сказал магистр те самые роковые слова о «тысяче, которые готовы встать на борьбу». Те слова, которые наивный и бесхитростный Сергей Левицкий ничтоже сумняшеся приведет в своем письме в Оренбург.

Далее события начинают развиваться стремительно, по законам детектива. На сей раз жандармского.

В 3-м Оренбургском линейном батальоне служил некто Исаев – прапорщик, выпускник Полтавского кадетского корпуса. Бесстыжий наглец, он сразу же вызвал неприязнь у офицеров гарнизона, наградивших его презрительной кличкой «Исайка». Этот хлюст и стал приставать к Шевченко, чтобы тот написал его портрет.

Отказаться, отговориться не удалось. Ведь Шевченко тайком, несмотря на запрет, писал портреты многих офицеров гарнизона и их жен. И прапорщик стал частым гостем в шевченковской мастерской. Флигелек этот, в котором размещалась мастерская и где жил Шевченко, принадлежал штабс-капитану Герну и находился рядом с его домом. Вскоре Шевченко догадался, что шустрому Исайке просто нужно было прикрытие для свиданий с супругой Герна, с которой, как оказалось, у него была тайная любовная связь.

Герн, этот «добрый немец», был искренним и душевным другом поэта. Именно через него шла вся переписка Шевченко с друзьями. Герн хранил и заветный «зошит» – тетрадь со стихами поэта, а также альбом акварелей. Могли Шевченко не вступить за поруганную честь этого достойнейшего человека?

Поняв, что Тарасу Григорьевичу все известно, подлый Исайка без промедления сочинил рапорт на имя командира Оренбургского отдельного корпуса генерала Обручева. Рядовой Шевченко, писал он, в нарушение высочайше установленного строгого режима, живет на частной квартире,

разгуливает по улицам не в шинели, а в «партикулярном платье» и свободно занимается рисованием и составлением стихов.

Гром не замедлил грянуть. Пасхальной ночью 22 апреля в комнате Шевченко был произведен обыск. Все найденное – письма, книги, рисунки, даже пресловутая «цивильная одежда» были изъяты, а сам поэт очутился за решёткой оренбургской гарнизонной гауптвахты.

Как же возрадовался тайному донесению из Оренбурга об аресте Шевченко всесильный шеф 3-го жандармского отделения граф Орлов. В свое время именно он вел допросы поэта и ходатайствовал перед Николаем I об ужесточении его наказания. Опытным бдительным оком главный жандарм империи изучил присланные с депешей материалы. Отложил в сторону рисунки, книги, – все это не стоило выеденного яйца, на этих пустяках дело не сошьешь. А вот письмо Сергея Левицкого – подлинная находка! Ведь в нем упомянут некий живущий в столице магистр, который готов поднять до тысячи человек на бунт. Какой грандиозный политический процесс можно устроить в назидание всей империи! А за этим, что тоже немаловажно, звания, ордена, награды!...

В тот же день после доклада государю и с величайшего монаршего волеизъявления, Орлов приказывает завести новое следственное дело особой секретности «О коллежском секретаре Левицком, магистре Головки и рядовом Шевченко». Руководство всем ходом расследования было возложено на поднаторевшего в деле политического сыска генерал-лейтенанта Дубельта.

Дубельт немедленно приступил к оперативным действиям. По его приказу полковник жандармерии Станкевич произвел задержание Сергея Левицкого. Полумертвый от

страха, полностью утративший самообладание, он сидел в казенной карете, привалившись к зарешеченному окошку. Что делать, как спастись? Ведь он молод, еще и тридцати нет – мог бы жить и жить! А что, если попытаться бежать? Толкнуть дверцу кареты – и на волю! Еще ведь не поздно, еще можно спастись!

Когда карета проезжала по деревянному мосту через Мойку, арестант неожиданно выпрыгнул. Перемахнул через парапет и бросился в реку.

В это же время другой жандармский полковник – Левенталь и квартальный надзиратель Столяров вломилась в квартиру магистра.

– Тебе объявлен арест, – приказал полковник. – Собирайся.

– Моя одежда там, во второй комнате, – спокойно, будто он ожидал этого вторжения, – сказал Головко. – Могу я пройти?

Левенталь молча кивнул и последовал за ним в спальню.

Пока магистр долго и тщательно повязывал перед зеркалом галстук, полковник, оглядев комнату, решительно направился к платяному шкафу. И тут произошло неожиданное: одним прыжком Головко очутился возле шкафа, и в тот же миг ошеломленный Левенталь с ужасом увидел в обеих его руках пистолеты.

– Брось оружие! – завопил жандарм.

В ту же секунду магистр нажал на курок, но полковник успел пригнуться – пуля прошла мимо.

– Хватай его, чего стоишь! – крикнул Левенталь квартальному.

Тот бросился к магистру, но в этот момент грохнул второй выстрел. Головко выстрелил в себя. Упал, обливаясь кровью.

Ему было 25 лет. «Нормальный» возраст для дисси-

дентов николаевского времени (Рылеев – 31 год, Грибоедов – 34, Полежаев – 34, Лермонтов – 27...).

После самоубийства магистра дело, которое так старательно начали выплетать на Фонтанке, развалилось. Ни одного из «тысячи бунтовщиков» так и не было найдено. Сергей Левицкий, выловленный в Мойке, некоторое время содержался во внутренней тюрьме Третьего отделения, но вскоре был выпущен: психическое состояние юноши делало его абсолютно бесполезным для следствия. Через два года он умер.

Роковой выстрел, прозвучавший той июньской ночью в квартире Головки, отозвался и в Оренбурге. Военное министерство, на основании личного указания императора, отдало приказ перевести Шевченко в отдаленное Новопетровское укрепление на полуостров Мангышлак.

1337 верст предстояло поэту пройти по этапу. Восемь самых страшных лет рабства и неволи ждали его впереди...

ПОСЛЕСЛОВИЕ, или Хроника квадратных метров

Светлое зимнее утро. За окном – Германия. В нашем личном распоряжении шестьдесят четыре с половиной квадратных метра. Для немцев обычное жильё. Для нас – земной рай.

...До войны жили мы в огромной коммунальной квартире – восемь семей, 30-35 человек народу, и на всех одна уборная, под дверью которой в любой час дня или ночи стояли страждущие, громко выражая свое нетерпение не только крепкими словами, но и громким стуком в дверь.

А на кухне, впритык друг к другу, как костяшки домино, стояли деревянные с тумбами столы, тоже восемь. И бранились по всякому поводу и без повода хозяйки, и гудели примуса, на которых обычный супчик варился полтора-два часа, и нестерпимый вонючий дым пережаренных котлет расползлся по всему коридору. Полкухни занимала большая кирпичной кладки печь, которую топили дровами в дни больших стирок, когда в выварках под прыгающими крышками кипело, выкручиваясь на огне, белье, обдавая паром обшарпанные стены...

И это было мое первое жильё на Земле.

А дальше – война. И коммуналка вскоре казалась раем по сравнению с вагоном для скота, в котором на нарах и под ними, на полу, притрушенном жидкой соломой, ехали неизвестно куда выброшенные из своих домов люди. Спали чуть ли не в обнимку с незнакомыми попутчиками, сумка либо мешок под головой, тяжело вдыхая воздух с запахом мочи и кислой картошки.

Остановится посреди степи эшелон – повыскакивают из вагонов люди. Кто по нужде, кто вынести умерших в дороге, кто воды болотной нечистой набрать, если поблизости какой-нибудь ставок или речушка. На больших станциях давали беженцам кашу, всегда почему-то перловую. Бегал я с какого-нибудь тринадцатого пути, куда загоняли эшелон, до первой платформы – с кастрюлей в руках, шарахаясь от пробежавших мимо поездов и бесстрашно ныряя под вагоны. И было мне тогда одиннадцать пацаньих лет. И гордился я, возвращаясь в теплушку с полной до краев кастрюлей, пышущей паром, и мама обливалась радостными слезами и благодарила бога, что я не попал под колеса и не отстал от эшелона.

Потом был Саратов, где в десятиметровой комнатенке жила мамина родная сестра Рива с мужем. И туда ввалились мы трое и поделили, условно, конечно, эти метры на пятерых. По два метра на каждую душу. Столько отводится обычно на кладбище. Приютили они нас, не выбросили на улицу, но ворчали украдкой, да и мы сами чувствовали свою невольную вину.

И это было мое второе жилье на этой Земле.

А Гитлер приближался к Волге, несколько раз уже «Мессершмитты» бомбили Саратов, и мама решила ехать дальше, в Среднюю Азию. Без сожаления мы расстались с саратовской комнатухой и бесстрашно помчались дальше, на

Восток.

В городе Чимкенте, на юге Казахстана, с трудом (из-за наплыва эвакуированных) сняли комнатенку в глинобитном домишке, похожем скорее на сарай. Я думаю, что до нас там действительно держали овец или другую живность. Покрыт этот сарайчик был не то камышом, не то тростником, не помню, пол был земляной. Вместо кроватей мы спали на сбитых из досок нарах, занимавших полкомнаты. Спали покатом, рядышком – я, мама и бабушка Агнеса, укрывшись какой-то рванью.

Мама записалась на курсы бухгалтеров – там давали паек как служащим. Зимой она ходила в двух разных ботах – один на каблуке, другой без каблука. Так в спешке и суматохе сборов запаковала их в Харькове. Вечером, освещенные колеблющимся огоньком коптящего фитилька, мы уплетали лакомство военных лет – «затируху». Нечто вроде клея, сваренное из щепотки ржаной муки в подсоленном кипятке, без всякого масла и жира.

И это было мое третье жилье на этой Земле.

Жили мы в Чимкенте втроем – я, мама и бабушка. А отец мой, поехав на Украину, попал в окружение при внезапном летнем наступлении немцев в июле 1942 г. Девять месяцев от него ни письма, ни весточки. Мы считали его погибшим. Мне в школе выдали сатиновую курточку на ватиновой подкладке как сыну пропавшего без вести, и я, дурак, радовался ей и очень гордился.

И вот, помню, идет урок казахского языка. Я сижу на третьей парте и мучительно вникаю в незнакомые слова. А учительница наша Роза Тюлегеевна пишет мелом на доске что – то вроде: «бала жуйру кьаласы Караганды», и я уже тяну руку, чтобы перевести эту немудреную фразу, как вдруг... Приоткрывается дверь и я вижу узенькую полоску



Папа

мамино лица и ее радостный глаз, будто плачущий. И треугольничек письма в ее робких, мелькающих в створе дверей пальцах.

Я тут же выскакиваю, училка что-то гневно бросает мне вслед. Но мы уже стоим у подоконника, в коридоре, и, обнявшись, читаем, передавая друг другу, маленькие, исписанные отцовским знакомым почерком листочки. Да, жив! Да, выбрался из окружения! Да, живет в Воронежской области, заведует деревенской аптекой и зовет нас к себе!

И у него – это так, между прочим! – есть для меня трофейная итальянская авторучка, немецкая солдатская сумка, с которой я буду ходить в школу, и настоящий танкистский шлем.

Ура! И зимой сорок третьего года мы прощаемся с Чимкентом, и эшелон везет нас в обратный путь. Зимой, в лютый мороз, мы делаем, после недели пути, пересадку в Москве, двое суток ночуем на своих вещах в зале Казанского вокзала, на заплыванном и замызганном кафельном полу, покуда маме не удастся в страшной сутолочной битве у касс другого, Курского, вокзала, добыть, наконец, билеты до Воронежа.

Встреча с отцом происходит на станции Бутурлиновка, куда он приехал встречать нас. Замерзшие и голодные, мы отогревались в доме местного аптекаря. Содрав в дворовой уборной одежду, я с мстительным упоением бил вшей, на-

копившихся за время пути – их было больше сотни. Я выискивал их в складках нательной рубахи, в швах, ногти были красными от собственной крови, высосанной этими паразитами.

А в доме, в большой столовой, уже был накрыт стол. Огромные блюда с лоснящимися от жира котлетами в окружении соленых огурчиков и квашеной капусты. Над чугуном с отварной картошкой поднимался ароматный парок, а каравай хлеба с глянцевицей корочкой был только что вынут из печи и торжественно водружен в центре стола.

Это было просто чудо, оазис, раскинувшийся перед путниками посреди голодной снежной пустыни. И можно было есть сколько хочешь. Да не просто есть, а жрать, жрать и жрать – за два военных года и за те, которые еще впереди. Оба аптекаря и наш кучер Василий круто пили разведенный спирт и провозглашали тосты за победу, а я пел самую любимую тогда песню из только что вышедшего на экраны фильма «Два бойца»:

«Темная ночь, только пули свистят по степи...»

Не Бернес, конечно, но подвыпившие аптекари и все сидящие за столом были растроганы до слез.

А утром мы попрощались с гостеприимными хозяевами и отправились в ту деревню, где жил сейчас отец. Она называлась очень романтично – Верхние Гнилуши. И, наверное, не зря. Как потом я узнал, до сорока процентов жителей ее страдало наследственным бытовым сифилисом и встретить старика или бабуся с проваленным носом было обычным явлением.

От Бутурлиновки до Верхних Гнилуш было семьдесят километров. По нынешним временам часа полтора-два езды. А мы добирались... трое суток! По снежной степи, в двадцатиградусный мороз, в открытой всем ветрам телеге. А везли нас два ленивых круторогих вола. «Цоб-цобе» подгонял их Василий, поочередно нагревая кнутом их костлявые

голодные крупы, но они лишь равнодушно вертели хвостами, сплевывая перед собой тут же замерзавшую жвачку.

Чтоб согреться, мы с отцом спрыгивали с этой арбы и шли рядом с волами, усиленно топая и размахивая руками. А женщины – мать и бабушка – сидели в этой телеге, зарывшись в солому и с головой укрывшись одеялами. К вечеру – так был составлен маршрут – мы приезжали в какое-то село, тоже к аптекарю, ночевали там, отогревались и наутро снова продолжали свой путь сквозь пургу и метель. К вечеру третьего дня, полуобмороженные и голодные, мы въехали в Верхние Гнилуши и остановились перед большим кирпичным домом с занесенной снегом вывеской «АПТЕКА». Отец открыл двери, и мы ввалились в жарко натопленные комнаты, где уже ждала нас, сияя улыбкой, санитарка Тоня.

И это было четвертое жилище, уготованное мне Судьбой.

Комнат было много – три или четыре. С высокими потолками, чисто выбеленными стенами и настоящими кроватями, от которых мы уже отвыкли. И никаких соседей, как в харьковской коммуналке! И никаких хозяев, как в Чимкенте!

Квартира занимала полдома, в остальной части располагалась аптека. Услышав дверной колокольчик, отец шел на работу. Отпустив покупателя – возвращался домой. Красота!

Отец сам составлял лекарственные препараты, разливал по бутылочкам разноцветные микстуры от всех болезней. Сам сбивал мази и кремы. Компоненты тщательно взвешивал на маленьких весах с крохотными гирьками, он называл их «разновесы».

Я помогал ему раскладывать порошки в пакетики. Времени у меня было предостаточно. Уроки я не готовил, учебник раскрывал только в школе. Почему? Во-первых, война приучила сачковать: сегодня ты здесь, завтра – там, все жили одним днем – сегодняшним. Во-вторых, по сравнению

с сельской ребятней, в моем пятом классе я был всезнающим инопланетянином. А в-третьих, сыну одного из самых уважаемых лиц в деревне достаточно было только раскрыть рот, как ему уже ставили пятерку в журнале. (Только в Харькове, очутившись в нормальной городской школе, я понял, как я отстал от своих сверстников! Приехал из эвакуации форменный неуч с двумя похвальными грамотами!)...

Летом 44-го, когда фронт откатился уже к западным границам СССР, мы возвратились в Харьков. Город стоял в руинах, люди возвращались из эвакуации, и жилья не хватало. Мы временно поселились на ул. Данилевского, в квартире, принадлежавшей маминому двоюродному брату. Он временно выделил нам, ч е т е р ы м, 12-метровую комнатенку (из своих двух). Отец пытался через суд вернуть нашу бывшую коммуналку, но ее занимала сотрудница НКВД, и праведный советский суд нам отказал.

Дядя предложил нам купить эту комнату за 10 тысяч рублей.

Буханка хлеба на рынке стоила тогда сотню, и деньги это были не столь уж большие. Но их просто не было. Мама решила продать свой отрез на платье – английская шерсть, берегла его всю эвакуацию. Мы вдвоем пошли на Благбаз, на толкучку, влились в десятитысячное людское море, колыхавшееся между ларьками. Три тысячи нам дали сходу, но мама не уступала. Прижимая отрез к груди, она пробивалась дальше, я за ней.

«Женщина, что там у вас упало?» – вдруг услышали мы громкий голос, мама оглянулась – и в эту минуту отрез на платье был выдернут из ее рук. Мы кричали, мы пытались пробиться сквозь толпу – но куда? Кого мы хотели найти? Базарная милиция только развела руками и посоветовала быть бдительными в следующий раз.

Пришлось занимать у родственников, у знакомых.

Наконец, собрав 10 тысяч и прописавшись, мы стали обладателями этой комнаты, которая стала

моим пятым жильем, где я прожил ДВЕНАДЦАТЬ лет.

Теперь представим, как мы жили. Родители спали на кровати с панцирной сеткой, я на диване, а бабушке Агнессе на ночь составляли из четырех стульев крестом ее ложе, и не было ночи, чтобы не отодвигался стул и бедная бабушка не сползала на пол. Посреди комнаты стояла в течение первых послевоенных лет железная печка, трубы были выведены в окно, выше крыши, чтобы была получше тяга. Когда за окнами выл ветер, печурку «задувало», весь дым шел в комнату, мы все задыхались, а отец, астматик, выскакивал на лестничную клетку и надрывался в сухом нескончаемом кашле так, что казалось, все внутренности выхаркает наружу.

Топили дровами и углем. Отец тогда работал в аптечном магазине на Университетской улице, это в районе нынешнего цирка. Мама помогала ему первое время. Для магазина получали уголь – тогда это был страшный дефицит. И родители приносили с работы по ведру угля. Я не оговорился – п р и н о с и л и... Потому что в первую зиму трамваи еще не ходили до Госпрома и приходилось нести эту тяжесть пешком.

В этой комнате прошли мои школьные годы и все пять лет студенчества. Чтобы иметь возможность заниматься, я выгородил себе в общей кухне халабуду площадью 1 кв.метр, завешанную с двух сторон коврами, оставшимися от прежней жизни. Третьей стороной была стена нашей комнаты, а четвертой – кусок окна, в котором я задумчиво искал вдохновение для своих стихов. Ведь главным назначением этой халабуды была возможность заниматься стихотворчеством.

Купались мы в корыте, в баню я брезговал ходить и предельно мечты была однокомнатная квартира с ванной и бал-

коном. И в конце концов она появилась, но не сразу.

Появилась в моей жизни Рита, тоже бесквартирная. Мы стали снимать комнату на Московском проспекте, в районе Красного Луча, это за Велозаводом, за 20 рублей в месяц. И прожили там, наслаждаясь любовью и свободой, несколько зимних месяцев. 27 марта 1958 года скончался от инсульта мой отец. После его похорон мама осталась на Данилевского одна (бабушка скончалась за два года перед этим) и предложила нам с Ритой жить вместе. Мы перенесли наш нехитрый скарб, заняли диван с высокой спинкой и валиками с двух сторон. Мамину кровать мы отгораживали на ночь от себя тряпичной занавеской. И все, что положено двум молодым людям в постели, совершали почти беззвучно и лишь когда мама засыпала.

Не помню уже, у кого из нас возникла идея разделить квартиру с соседями. Благо, она имела два выхода на разные подъезды. Началась долгая канитель – разрешение горсовета, составление проекта, согласование с пожарниками и пр. Достали весь необходимый материал: древоплиту, фанеру, бревна. Эти бревна, сырые и тяжелые, до сих пор в моей памяти. С трудом разворачиваясь на крутой и узкой лестнице, мы их вдвоем с Ритой поднимали на пятый этаж. А ведь она была уже беременна Яной! А сколько ведер строительного мусора мы вынесли! Канализационных негодных труб! Старой трухлявой мебели, включая родительское ложе с панцирной сеткой!

В результате мы оказались в крошечной изолированной квартирке, в которой, кроме маминой, двенадцатиметровой, появилась темная, без окна, комнатка метров на шесть, где стояла наша с Ритой тахта и Янина деревянная кроватка. И хоть вход с подъезда был прямо в комнату, без прихожей, мы блаженствовали в этой первой изолированной, хоть и самодельной квартире,

которая и вошла в мою жизнь, как жилье №6.

Росла Яна, из подъезда, не защищенного прихожей, страшно дуло, ванны по-прежнему не было. Рита стояла в очереди на жилье, мы ее поэтому не прописывали к себе. Очередь в институте огнеупоров двигалась медленно, сопровождаемая скандалами и профсоюзными разборками. Нам удалось выведать страшную тайну – номер нашего будущего дома на ул. 23 августа и даже номер квартиры, на которую нам должны были после сдачи дома выдать ордер. Дом, еще недостроенный, был обнесен забором, и мы время от времени приезжали, чтобы в щелочку посмотреть, что же там делается. Чем ближе шло дело к вселению, тем больше интриг вокруг вроде бы уже выделенной нам квартиры разгоралось в профкоме института. Объявился очень сильный претендент, отставной офицер с большими заслугами, он открыто заявил, что возьмет эту квартиру штурмом. И тогда мы сделали решительный шаг. Приехали к «своему» дому с замком и уговорили сторожа за бутылку поставить этот замок в нашей квартире. Это был гениальный ход. Накануне вселения мы пробрались в свой подъезд и вошли в свою квартиру. Батареи отопления были еле теплые, и мы, чтобы не маячить в окнах и для «сугрева» легли на полу возле них.

И вдруг, в два или три часа ночи, двор огласился криками. Мы слышали, ничего не понимая, как подъезжали одна за другой машины, как по лестнице топали какие-то люди, дергали двери, в том числе и нашу. Мы лежали ни живы, ни мертвы. Боясь пошевелиться.

Оказалось – надо же было случиться такому совпадению! – что в одном из домов на Рымарской улице произошел взрыв газа, возник пожар и всех жильцов-погорельцев начали спешно расселять в сдаваемые в эти дни дома. Но замочек нас спас! В мае мы торжественно отметили свое

новоселье, позвав столько гостей, что сами уже, сняв двери с петель, сидели на лестничной клетке. Гуляли всюду, от души, ибо мы уже имели и ванну, и балкон, и это было

мое седьмое жильё

и радость наша была беспредельна.

Мама же оставалась одна на Данилевской, телефона ни у нее, ни у нас не было, и я конечно, тревожился, как ей там одной. И встал вопрос об обмене. Не могу даже припомнить, сколько месяцев, кажется, целый год, ежедневно после работы, простоял я на квартирной бирже, пытаюсь выменять трехкомнатную за наши две одинарки. Мамина самоделка не нравилась из – за отсутствия прихожей. Наконец, мне посчастливилось – в одной организации дали трехкомнатную квартиру на размен двум семьям. Но одна претендовала на двухкомнатную и не хотела идти в нашу одинарку. К счастью, начальство их организации заставило их совершить этот обмен насильно и, несмотря на их угрозы, мы вселились на Отакара Яроша 41, в сорок первую квартиру,

которая и стала моим восьмым жильём.

Оно хорошо известно и нашим детям и нашим внукам, ибо все они выросли в этой квартире, полученной после стольких бездомных мытарств.

Ну а дальше был Люботин, полдома под Харьковом – девятое по счету жильё, и нынешняя наша обитель – десятая, уже в Германии.

П.С. Прочитал эти несколько страничек Рите... На глазах

ее слезы. «Почему ты плачешь?» – спросил я. – «Как быстро прошла жизнь...» – ответила она.



**Наша гоп-компания на берегу Леха (Аугсбург):
Жена Рита, внучка Вероника, зять Игорь, дочка Яна и внук
Владик. Меня нет - я с фотоаппаратом. А правнук Сашка еще
тогда не родился.**

*Под конец
Чтобы не заканчивать на грустной ноте*

Ч А С Т И Р Е Ч И

Рассказ

Кто предложил, не помню. Изгладилось, выветрилось из памяти. Да и какая разница – всем сразу пришлось по кайфу, консенсус в квартире был полнейший. Договорились собираться на кухне, в два тридцать пополудни.

Муська рыжая отхватила себе глагол – попробуй, не дай! «Божественный глагол» – сказал поэт. Самое лучшее. Карболкин, полковник в отставке, забрал прилагательные. Числительные никто не хотел брать – обойдемся, мол, без них. Долго базар вели по существительным, желающих было много, но дали Арону Копеловичу. Чтоб не скулил, что еврейскую национальность опять обошли. Райка выпросила местоимения. А Игорь – он тоже к нам подключился, без работы ведь, делать нечего, дома кантуется, получил наречие. Я лично, чтоб думать меньше, не напрягаться, оставил себе междометия. Но обязали писарем быть. Такое вот распределение было.

В первый день, когда сошлись на кухне, получилось так.

– Начнем! – сказала рыжая Муська. – Третье не дам. Дальше все по регламенту.

Долго и вдумчиво все мы, собравшиеся, молчали. Кто губами шевельнет беззвучно, кто от нервов ногой дрыгнет, кто очечки свои снимет, а кто, наоборот, чужие наденет. Друг на друга глядим украдкой и глазки отводим, будто в уборной встретились за неприличным занятием.

Каждый боится муть ляпнуть и долболобом прослыть. А время идет в томлении и тишине. Слышно даже, как зеленые мухи бессовестно по кухне барражируют, выпучив свои фасеточные глазки на небывалую в нашей кухне молчанку.

Вдруг Игорь кашлянул. Все на него – ну, начинай, мол, ты же самый юный, тебе и лажануться извинительно по молодости лет. А Игорек и вправду рот раскрыл, еще разок перхнул и произнес:

– Вчера...

Точно сказал, как обусловлено было – он ведь ответственный за наречие! И от этого простого слова, не вру, легко нам и свободно стало. Ожились мы все, задышали, заерзали жопами на табуретках, заулыбались друг другу. А потому что умное слово придумал, живое, как родничок – из него любая история истечь может. И записал я его в тетрадочку, слово это, с превеликим удовольствием: «Вчера».

Опять помолчали мы, но уже совсем капельку, разминаясь мыслями.

– Студент Шишечкин, – вдруг пальнул мудряга Копелович, победно оглядывая всех нас.

Мы закивали ободрительно: в точку! Два слова, но ведь существительные оба. И уже герой обозначен. Студент. И фамилия улыбочивая, нестандартная. Записал я и чувствую: завязывается история. Так, наверное, и настоящие писатели пишут: словцо к словцу цепляют и получается огромный романище.

Полковник Карболкин, убив злобную муху на щеке, поднял руку – просил слова. Дисциплинка у старика, порядок в танковых частях! Муська как председательша, милостиво тряхнула рыжими лохмами: давай, мол, ждем.

– Молодой, высокий, широкоплечий, – bravo выпихнул из усатого рта целых три прилагательных отставной полковник. – Через запятые, не забудь – бросил он писарю, то есть

мне. Глаза его светились радостно. А мы сразу мозгами завяли. Молодой – ладно. Высокий – ну, допустим. А насчет плеч – перебор, таким в армии место, на правом гвардейском фланге, нетипично для студента.

Но перечить не стали – каждый своей частью речи предполагает, как полный ее хозяин, чего мелочиться?

Муська тут же вперед двинула, выводя фразу на смысловую дорожку. Брякнула глаголом и прожгла наши сердца неожиданным словесным сюрпризом:

– Подскочил ...

Ну и выдала лахудра! Уставились мы гневными глазами сперва на нее, потом в пол – от смятения в душе. Ну что она этим «подскочилом» имела в виду? Думаем, башку себе раскальваем. А что сказать дальше, никто не знает. Творческий тупик, сбой программы. Чего этому молодому, высокому, широкоплечему подсказивать?

Постойте, мыслью я, может, он баскетболист? В спартаковской красной майке, с перебинтованным коленом. Тогда и этот «подскочил» подходит. А чтобы мяч в корзину зашвырнуть! Здорово придумал я, логично: нашел этому Шишечкину достойное дело. А вот сказать не могу: междометиями что опишешь? Минута проходит, другая. Старик Копелович, еврейская голова, черепушка лысая, вдруг брякает:

– На кровати.

Получается вроде по логике, складно: подскочить на кровати можно. Записал я арончиково словцо, но с мучительным авторским сожалением. Ведь сгинул мой спартаковский баскетболист, прыгнул в уме, да так и не дотянулся до корзины. Уложил его Арончик в постель. Ну что ж, его право. Постель так постель. Может, с девкой лежит наш Шишечкин? Стал я дальше развивать мысль. Зимнюю сессию спихнул, куча времени. Чем же заниматься молодому и

широкоплечему, если не сексом? Отлично, братцы!

Поставил я после на кровати точку и вздохнул облегченно: уф! Одолели первую фразу! Лихо закручивается, с первых слов любовь, как классики нас приучали в школьные годы: «Все смешалось в доме Облонских». Помните? Только дальше как? Почему «подскочил» на кровати студент Шишечкин? От удовольствия любви? От дикого оргазма? Но, насколько помнится из молодых незабвенных лет, мужик после этого дела в бессилии откидывается на подушки, а не подскакивает, как петух. Это отступление от реализма. Можно, правда, предположить, что подскочил он, не прерывая текущего момента, а чтобы сменить сексуальную позицию? Нет, стоп, это уже «Камасутра». А мы обусловились: без порнухи. Забрать девку, не место ей у нашего Шишечкина. Отвлекает, сучка, от учебы. Предположим, что он всю ночь зубарил, скажем, термодинамику, хвост у него, и лег на рассвете. В постели лежит, накрывшись с головой одеялом. Рисую себе в мозгу картину и радуюсь. Придумал я здорово, но как же это выразить междометиями?

И тут меня осенило. Разразился на всю кухню звукоподражательной частью речи:

-Дзынь -дзынь -дзынь...

Повеселел народ. Понял, что увел я студента от ночного разврата, разбудил, чтобы в институт топал. Порадовался я, что выбрал междометие. «Дзынь» – и фраза закруглилась. Надо третью начинать.

Райка, сделав очередную петлю, положила на колени сиреневое свое вязанье и произнесла нежно :

– Он...

Все верно, местоимение заменило молодого, высокого, широкоплечего студента Шишечкина двумя буквами. Научились мы владеть словом! Краткость – сестра таланта! Пошли дальше, ребята!

– ...нажал, – догадалась рыжая Муська, памятуя о звенящем до сих пор будильнике.

– ...кнопку будильника, – незамедлительно подхватил Арончик.

– и быстро... – уместно вставил наречие Игорь.

Тут Муська разошлась, показала всю силу глагольного слова:

– ...умылся, побрился, оделся и выскочил...

– ...на улицу, – добавил существительное Арончик. И тем благополучно закончил третью фразу.

От напряжения устали мы, решили передых сделать. Полковник Карболкин принес полбанки деревенского самогоя, Райка – котлет, Игорь пару соленых огурчиков. Выпили за первую фразу, потом бахнули за вторую, за третью. Писательское дело – оно требует подзарядки. Очень нам понравился этот студент Шишечкин, которого мы произвели на свет Божий.

– Зима, мороз лютует, – вздохнула сердобольная Райка. – А мы его на улицу погнали.

– А что ж ему, молодому, задницу дома чухать? – вразумительно сказал полковник.

– Гранит пусть грызет, – добавил Арон Копелович. – Научный, я имею в виду. Мой Левка, вы же все помните Левку, академиком мог стать, скажете нет? Так они его в аспирантуру не приняли, на стройку коммунизма прорабом отправили. А у Шишечкина с пятой графой полный ажур. В первом томе кандидатскую защитит, во втором – докторскую.

– А сколько томов у нас будет? – уныло спросил Игорь. – Меня ж на работу взять могут.

– Десяток, не меньше, – сказала Муська. – Вон как хорошо началось. А жизнь у Шишечкина большая будет и интересная, как сто сериалов.

– Если учиться не пожелает, я его в армию отправлю, –

сказал полковник Карболкин. – Контрактником, в горячую точку.

– Ты отправишь! Хозяин нашелся! – вскипела Муська. – Как все решим коллегиально, так оно и будет.

– Не надо в армию, он способный, наше дело помочь ему, – чувствительно зашептала Райка. – Я его уже, знаете, люблю, Шишечкина нашего! Как одинокая на всем свете женщина я вот только что решила: кофту распушу, на фигу мне она, лучше свитер свяжу. Ему. Теплый, под горло. Ты, Муська, когда глаголами своими шарахала – умылся, мол, побрился, оделся – а во что оделся, на улице минус восемнадцать, между прочим. Голову наотрез, что у него свитера нет. Я прислушивалась – не было свитера. Вытурили бедную Шишечку нашу на лютой мороз.

– Это Арончик зевнул. Чтобы во что одеть, существительные нужны, – отбивалась Муська. – Ты, подруга, пробовала одними глаголами одеться? То-то.

– Копелович признал свою промашку.

– Дубленку ему дам, пожалуйста, – заторопился он. – Шарф махеровый вокруг горла, «жириновочку» с козырьком на голову. Чем плохо? А ты допиши, прошу, – обратился он ко мне – Шишечкин еще из подъезда не вышел.

– Он зубы, между прочим, не почистил, – сказал Игорь, укоризненно глядя на Муську. – А идет в институт. Тоже Муся Зеликовна упустила. – Игорь слыл в квартире аккуратистом по части мелочей туалета и этикета. Это было наглядно видно по его выхоленной, как ангорский хвостик, бородке.

– Я сказала «умылся», – убийственным голосом, не допуская возражений, отрезала Муська. – Значит, и зубы его туда вошли, в мытье. Ладно, кончаем базар. Строгаем четвертую фразочку. Фейхтвангер – такой писатель был, может, слышали, про безобразных герцогинь писал – в день по

тридцать страниц надиктовывал. Один – и по тридцать. А у нас, позор, целая бригада. За полтора часа три фразы!

Права, Муська, ничего не скажешь. Взяться – значит, вкалывать надо. Тем более – сериал мексиканский скоро, разбежимся по комнатам.

Кто же начнет? А? Повертели мы шеями и в задумчивости остановились на Игоре. Снова на нем. Опыт есть, выкачивай, мол, наречие, мужик, и пойдем по четвертой фразе.

Игорек прикрыл самодовольные глаза веками, провел ласковой ладошкой по шелковой ангорской бородке и выпустил на свет наречие, короткое и внезапное, как выстрел.

– Вдруг... – сказал он. И обвел всех победным взглядом.

Все приготовились, раскатали мозги. После такого внезапного слова что-то не совсем обычное должно случиться. Начали думать.

И в это самое время раздался звонок. Мы переглянулись, написав на своих отвлеченных от житейской суеты лицах досадливое недоумение.

– Катька это, с третьего этажа, – вздохнула Раиса, успевшая уже размотать половину кофты на нитки. – Ну надо же, именно сейчас приспичило.

– За луковицей, – насмешливо сказал Арончик. – Или алкоголь учуяла.

– Не открывать! – гаркнул полковник Карболкин. – У нас творчество.

В дверь позвонили еще раз, потом, с настойчивостью, еще и еще.

– Похоже, что милиция, – сказал Игорь. – Надо бы открыть, Муся Зеликовна. Могут пришить сопротивление властям.

– Никаких условий для творческих людей, – возмутилась от всей души Муська. – Кошмар! Что ж нам в Переделкино бежать?

Арончик, сидевший ближе всех к входной двери, испросил глазами позволения открыть и двинулся в прихожую.

А через минуту в дверях кухни стоял, отряхивая снег с меховых отворотов дубленки, рослый плечистый парень, улыбаясь красными от морозной стужи щеками. Мы обо-млели.

– Во-первых, разрешите представиться, – сказал он и стянул с головы шапку-«жириновку», – ибо вы меня не знаете и по правилам хорошего тона...

– Знаем! Знаем! – завопили мы дружно, как на стадионе, когда гол забьют, и втащили удивленного парня в кухню.

– Может ли мать не знать свое чадо? – загадочно закатила глаза бездетная по жизни Муська.

– Ты – Шишечкин, студент. Благодаря мне ты явился на свет, – гордо повел хилыми плечами Арон Копелович.

Гость перевел глаза с Муськи на Копеловича, улыбнулся им мягко и сказал:

– Простите, товарищи, тут какая-то путаница. У меня и папа, и мама... В Астрахани живут. А вас я вижу, извините, в первый раз...

– Садись, парень, садись. Потолкуем! – скомандовал полковник Карболкин.

Игорь тут же подставил табуретку, усадил гостя.

– Фамилия твоя Шишечкин? – продолжал допрос полковник.

– Ну, Шишечкин.

– Без всяких «ну». Я в разведуправлении танковой армии служил. Отвечай по форме. Понял?

– Понял.

– Ты студент?

– Как вам сказать... Вообще-то я учусь, на третьем курсе. Но подрабатываю в риэлторской конторе. Позвольте мне объяснить цель моего прихода.

– А как же с аспирантурой? – заглянул к нему в глаза Арончик. – Мой Левка ввиду пятой графы тоже за бабками погнался и – пшик. А голова была как палата мер и весов.

– Мы на вас возлагаем такие горячие надежды, – изогнув томные брови, произнесла Раиса. – Вы уж нас не подведите.

– Гранит грызть будешь, – зашептал ему на ухо Копелович, – академиком станешь. Мы тебя на Нобелевскую выведем. Вот увидишь.

– Но не раньше десятого тома, – строго оговорила Муська. – Путь в науку тернистый, Нобелевку надо заслужить.

Студент Шишечкин обвел внимательным взглядом всех нас, потом покосился на стол с опорожненной поллитровкой и закусоном. И сказал, понимающе улыбнувшись:

– Я, может быть, не во время, товарищи. У вас, вижу, какое-то квартирное торжество.

– Да, – сказала Муська с гордостью, – празднуем день зачатия.

Шишечкин сделал вид, что улыбнулся:

– Не буду мешать, товарищи, зайду в другой раз.

И он рыпнулся, чтобы встать.

– Сидеть! – рявкнул полковник Карболкин и положил властную руку на плечо студента. – Отвечай: зачем пришел? Кто послал?

– Да я ... Послушайте, я ведь и хотел с этого начать, – сказал Шишечкин и поспешно, обрадовавшись, открыл замки коричневого кейса. – Риэлтор я, фирма «Альфа и омега». Слышали? Нет? Ну, неважно. У меня для вас чудесное предложение... Можно мне столиком воспользоваться? Спасибо, я с краешку. Вы даже не представляете, как вы сейчас обрадуетесь. Наша фирма послала меня, чтобы всех вас ошастливить. Да, да ! Сейчас, сейчас, мои дорогие, я все вам объясню...

Он захлебывался в своем словесном потоке, перебирая

бумаги и выкладывая их на клеенку стола, а мы, окружив его, смотрели только в кейс, пытаясь увидеть там обандероленные, как в кино, купюры зеленых бумажек, которые должны принести нам счастье. Но там их не было .

– Вот вы, Муся Зеликовна, – продолжал между тем Шишечкин, – живете в комнате 11 квадратных метров. Так?

– Ну, допустим, – сурово набычилась Муська. – Кому какое дело, сколько метров. Это моя личная жизнь. И откуда вам известно, между прочим, как меня зовут? Мы с вами на пляже рядышком лежали или на Кавказских минеральных водах нарзанные ванны принимали?

Мы грохнули: вот отмочила! Но Шишечкин не растерялся:

– А у нас на всех жильцов данные. И план всей вашей квартиры № 15 тоже имеется.

Он развернул чертежную синьку и ткнул пальцем в какой-то квадрат.

– Здесь товарищ Копелович проживает, четырнадцать с половиной метров. А эту комнату занимает полковник Карболкин... Синицына Раиса Федоровна, вот, угловая комната с маленьким окошком...

– Хватит, – сказал полковник. – Вы вторглись в нашу квартиру и нарушили закон о неприкосновенности жилища. Я вызываю милицию.

– Погодите, – сказала сердобольная Рая. – Мы ведь не дали ему договорить.

– Ну да. Где, в чем наше счастье? – спросил Игорь, огорченный тем, что кейс закрылся. – Покажите его.

– Охотно! – воскликнул Шишечкин и взял со стола лист бумаги. – Вот ваше счастье, Игорь Анатольевич. Подпишите бланк заявления и получите изолированную квартиру с балконом на проспекте имени Николая Щорса.

– Я?

– Да. Именно вы и каждый из жильцов вашей квартиры.

– Не верю! – воскликнула Райка надрывным голосом режиссера Станиславского. – И с балконом?

– Да, Раиса Федоровна, именно с балконом. Вы, например, на Каштановой, 13.

– Дорогой мой... Да я всю жизнь мечтала... Чтоб отдельно жить... – прослезилась Райка. – Разрешите с вас мерку снять. Я вам свитер теплый свяжу.

– Я зайду к вам завтра, возьму подписанные заявления. И тогда обмерите меня. Договорились?

Шишечкин встал, надел «жириновочку», стал прощаться с нами – с каждым за ручку.

– А кто здесь проживать будет? – поинтересовался полковник Карболкин.

– Никто. Салон здесь будет. Дамского белья. Центр, первый этаж, парковка отличная, удобно. И дамскому белью, и вам. Все в выгоде. Рад, товарищи, что мы нашли с вами общий язык. До завтра! Пока!

И сквозанул этот Шишечкин так же вдруг, как появился.

А у нас тут как началось! Игорек две бутылки по ноль семь приволок из гастронома, консервов, куру загриленную. За сбывшуюся мечту пили, за каждую одинарочку с балконом и совмещенным санузлом, за салон исподнего дамского белья, за благотельную фирму «Альфа и омега» и, конечно, за нашего дорогого Шишечкина, которого мы породили в этот день зачатия, отдав ему самое лучшее, что было во всех нас: Арончик – мудрую еврейскую голову, полковник Карболкин – армейскую выдержку и дисциплину, Муська – языкатость свою и способность выкручиваться из ситуаций. От Игоря, аккуратиста нашего, перешла к Шишечкину, как мы это видели, забота о своем внешнем облике, умение обходительно вести деловую беседу. Раиса передала Шишечке свою нежность (не считая обещанного вязаного свитера из

теплой овечьей шерсти).

Когда все восхищенные слова были торжественно озвучены, а питья, само собой, уже не оставалось, разобрали мы заявочные бланки, стали вертеть их во все стороны в своих непослушных, как у пьяного человека, руках. И отметили с большим удовлетворением, что все графы каллиграфически заполнены, а нам только паспортные данные осталось проставить и подписью собственноручно скрепить. Молодчага Шишечкин! Деловой мужик! Мы старательно слили из трех порожних бутылок остатки, каждому нацедилось на посошок и отметили доброту сердца нашего новоявленного коллективного сыночка, позаботившегося о своих как бы настоящих родителях.

– Каштановая улица в зелени утопает, я знаю, там у меня подруга живет, – с мечтой в глазах сказала Райка. – Буду на балконе вязать, на свежем воздухе.

– На Щорса «семерка» ходит или шестнадцатый? – спросил Игорек, но ему никто не ответил, каждый занимался своим новым местожительством.

Арон Копелович и Муська оказались соседями – обоим выделялись квартиры на бульваре Мичурина, только в разных домах.

– Ура! – воскликнула Муська. – Каждый день друг к другу – чай гонять. Правда, Арончик?

– И не только чай, – загадочно произнес Копелович, блеснув лысиной.

– В гетте будете жить, по благу, – буркнул совсем без антисемитского душка Карболкин. – А мне с Третьей Песчаной как до вас добираться? Автобусом два часа, не меньше.

– А вы «газелью», – сказал Игорь, – маршруткой в смысле.

– Я в танке под огнем шел – ни один мускул не дрогнул. А «газелей» этих, честно скажу, остерегаюсь – ну их. Из-за

ваших чаев Богу душу отдашь.

Полковник встал и прошелся по кухне возмущенным строевым шагом. Вдруг челюсть у него отвисла, глаза ошарашенно выкатились. В чем дело, думаем. А Карболкин громовым голосом:

– А кто скажет мне, господа хорошие, что с творчеством нашим теперь будет? А?

Мы обомлели.

– Конец, значит, хенде хох? – презрительно сощурился глазами, добивал нас полковник.

– А ведь десять томов задумали... – произнесла Муська. – Теперь что же – псу под хвост?

– Какого черта его сюда принесло? – сказал Копелович. – Неприятный тип, барыга. – Ему бы в институт, а он к нам бабки заколачивать явился.

– Поссорить нас пришел, – сказала Муська. – Мерзавец.

– Нос у него какой-то длинноватый – раздумчиво произнес полковник Карболкин. – Пусть наши евреи не обижаются, но... Довериться ему нельзя. Неискренний, лживый, скользкий какой-то. Хоть мы его сами и сотворили, но... Уж я людей насквозь вижу. Никакой пощады!

И при этих словах полковник разорвал свое заявление и бросил клочки на стол.

– Вы знаете, – сказал Арон Копелович, – я тоже потерял к нему всякий человеческий и писательский интерес. Прощельга, мошенник. Какой он, извините, нобелевский лауреат! Присоединяюсь к вам, товарищ полковник. Как еврей и гражданин.

Через минуту груда бумажных обрывков лежала на мокрой клеенке.

– Зачем же я кофту распустила? – вздохнула Райка.

– А ведь он завтра придет, – произнес Игорь. – И что мы ему скажем? А?

И тут еврейская лысая голова, наш Арончик, говорит мне:

– Вырви страничку. Даю существительные. Студентка Вероника Ершова...

– ...молодая, красивая, стройная... – добавил ответственный за прилагательные полковник Карболкин.

И мы понеслись, наверстая упущенное время. До мексиканского сериала оставалось еще сорок пять минут.

С о д е р ж а н и е

Театральный роман

Стать театром	5
Он оставил нам свою музыку	9
Эрнст Буш и его харьковский «двойник»	13
«Датская» премьера в день смерти вождя	19
Памяти друга	25
Вокруг Чайковского	36
ЧП на премьере	51
От гвардии ефрейтора до генерала	66

В антракте.

Из театральной жизни. Почти быль	74
--	----

Харьков. Мозаика сороковых

Пломба	85
Адвокат Белов вспоминает	90
Разводящий	94
Берега, берега	99
Ромео, Джульетта и «отец народов»	102
Миллион на улице Берия	107
Марк Черняков в дни мира и дни войны	116

Короткое перо журналистики

Это прекрасное слово «хмыз»	128
Под флагом «Велодарника»	138
«Мой друг Илья»	147

Еврейский мир

Лепестки золотого пламени	160
Третья жертва	162
Был такой обычай на Руси	167
Клещи	170

«Жид и Хохол»	175
Последние гастролы театра Михоэлса	183
Вспомним Зускина	188
«Зона невостробованных прахов»	194
Эмиграция как парадокс судьбы	
Восток – Запад	200
В гостях у «бременных музыкантов»	201
Цветы Дахау	209
Он жил с осколками «хрустальной ночи»	212
И не осталось ни одного еврея	219
Театральный роман. Продолжение	
О «Сестрах Джоконы» замолвлю я слово	225
Авторский театр «Lesedrama». Избранные страницы	236
Лица из прошлого	
Крестный отец величайшего безбожника	239
Поэт и магистр	246
Послесловие, или Хроника квадратных метров	254
Под конец. Части речи. Рассказ	266

Литературно-художественное издание

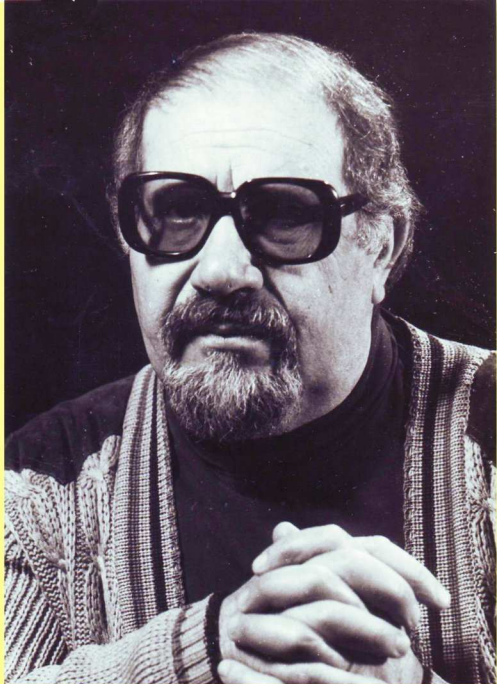
Сагалов Зиновий Вульфович.

Действующие лица. Воспоминания. Очерки. Рассказы.

Редактор И. Романов

Верстка Я. Самойлович

Зиновий Сагалов



«Весь мир театр, а люди в нем актеры» ...

Этот афоризм великого Шекспира приходит на память, когда открываешь книгу воспоминаний и эссе известного драматурга Зиновия Сагалова.

«**Действующие лица**» - это рассказы и мимолетные зарисовки о тех, с кем встречался автор на протяжении долгого жизненного пути. Писалось, как вспоминалось - не по календарю. По законам свободного полета памяти.

«**Действующие лица**» - это мечта о театре, зародившаяся еще в довоенной коммуналке. Но так уж случилось, что специальностью стала журналистика. Да вот только беспартийному еврею не было тогда места среди «бойцов идеологического фронта». И он от нечего делать стал сочинять сказки и стишки для детей. Они-то и привели его в конце концов на подмостки театра.

«**Действующие лица**» - это воспоминания о тех, с кем дружил и творил. О режиссерах, композиторах, актерах. О тех, кто, коль было нужно, подставлял плечо для помощи. И тех, кто рад был подставить ножку.

«**Действующие лица**» - это и герои его пьес. Исторические (М.Шагал, А. Дункан, П. Чайковский, С. Бернар, И.Репин, С.Михоэлс и др.) и вымышленные. И в каждом - частица самого себя.

«**Действующие лица**» - это и военное лихолетье, и советская жизнь, подчас нелепая и смешная. Эвакуация и эмиграция. Средняя Азия и Германия. Раздумья, решения, выбор...

ISBN 978-1-4710-6098-4 90000



9 781471 060984